

СИБИРИАДА

ВАЛЕРИЙ
ПОВОЛЯЕВ



ОрЕНБУРГСКИЙ
ВЛАДЫКА

Валерий Дмитриевич Поголяев

Оренбургский владыка

Серия «Сибиряда»

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6023642

Оренбургский владыка : роман / Валерий Поголяев.: Вече; Москва; 2012

ISBN 978-5-9533-6513-0

Аннотация

Александр Ильич Дутов, потомственный казак, атаман Оренбургского казачьего войска, ветеран-орденоносец Русско-японской и Первой мировой войн, участник Брусилковского прорыва, генерал-лейтенант и непримиримый борец с большевистским режимом, был ликвидирован спецгруппой чекистов 7 февраля 1921 года в китайском городе Суйдун.

Об этом неординарном человеке, бесстрашном кавалеристе, талантливом военачальнике, любимом атамане оренбургских казаков и его яркой, но короткой жизни рассказывает новый остро сюжетный роман известного писателя Валерия Поголяева.

Содержание

Часть первая

5

Конец ознакомительного фрагмента.

137

Валерий Поволяев

Оренбургский владыка

©Поволяев В.Д., 2012

©ООО «Издательство «Вече», 2012

©ООО «Издательский дом «Вече», 2012

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Часть первая

В ту темную зимнюю ночь Оренбург был накрыт звездопадом. Черное небо сделалось пестрым от несметы ярких брызг, вдруг вспыхнувших над головами и стремительно понесшихся вниз, к земле, расчеркивая весь небесный полог длинными, режущими глаз линиями. Обыватели просыпались встревоженно и преникали к окнам: к чему бы такой звездопад, а? Что он означает, что сулит?

Одни считали, что это знамение – к добру, другие – совсем наоборот. Народ разбился на половины, не согласные друг с другом... Ясно было одно – надо ждать перемен. Только вот каких? Перемен к лучшему никто уже не ждал: в сведениях, приходивших с полей русско-германской войны, было много неутешительного. Оренбуржцы в изменения не верили и опасливо переглядывались друг с другом:

– Неужели нам немаки все-таки завернут салазки?

Германцев в ту пору вся Россия дружно звала немаками: «немки» и «немаки».

На фронте шли непонятные волнения. Вести об этих волнениях в тыл привозили дезертиры. Их отлавливали, иногда, если они оказывали сопротивление, клали на землю выстрелами из казачьих карабинов, потом зарывали за кладбищенской оградой в наспех выкопанных неглубоких могилах и не ставили там никаких столбов. Дезертиры все чаще и чаще

появлялись в Оренбурге...

В мире происходило нечто такое, чему не было объяснения.

На следующий день после звездопада оренбуржцы поспешили в «брезентовый цирк» – туго натянутый шатер-шапито, поднявшийся недалеко от войскового собора. Устроители цирковых представлений обещали показать казакам настоящий «судебный поединок» – старую забаву, драку, корнями своими уходившую едва ли не к поре Рюриковичей. «Брезентовый цирк» был полон.

Знатоку и ценителю отечественной истории войсковому старшине Дутову, «судебный поединок» был интересен не столько выяснением, кто кому расквасит нос, сколько техникой, – наполовину, а пожалуй, что и на две трети забытой техникой кулачного боя. Дутов понимал толк в кулачных боях: в молодости, случалось, и сам участвовал в потасовках, когда в степи, засыпанной снегом, одна ватага с громкими криками надвигалась на другую.

Войсковой старшина сидел угрюмый, наклонив коротко, чуть ли не наголо остриженную голову и положив руки на старую шашку, будто на клюку. Судя по темному цвету его сильного, какого-то медвежьего лица и непонятной острой печали, застывшей в пронизательных глазах, был он чем-то озабочен.

Мимо по проходу проследовали два кадета, при виде Дутова испуганно вытянулись, прижали ладони к бедрам, пе-

решили на строевой шаг, затем исчезли в сумраке, видимо, усевшись на одну из лавок, поставленных вокруг небольшой, засыпанной опилками арены.

Через несколько минут зажглось несколько больших фонарей, свет от них падал на арену. Из-за небольшого занавеса, прикрывавшего вход за кулисы, появился плечистый человек с рельефным торсом и длинными волосатыми руками. Выйдя на середину и с трудом согнув могучую толстую шею, он коротко поклонился. В рядах негромко похлопали, на лице вышедшего к зрителям бойца возникла разочарованная улыбка – он считал, что аплодисменты должны быть дружнее, громче.

Снова колыхнулся занавес, и с другой стороны вышел второй боец – низенький, чернявый, с узкими жгучими глазами и белозубым ртом. Этому бойцу похлопали сильнее – он был симпатичнее первого, много улыбался и кланялся ниже.

Через несколько минут бойцы сошлись в поединке.

Высокий плечистый боец уступал узкоглазому – похоже, калмыку – в проворстве, в умении наносить крепкий резкий удар. Калмык впечатывал кулаки, то один, то другой, в мускулистое тело противника, будто некую деталь, угодившую под заводской пресс, – те сами прилипали к мышцам, плющили их.

Уступал плечистый и в технике – та у него была боксерской: для того, чтобы удар стал резким, сильным, в движении он доворачивал кулак. Калмык же действовал по старинке,

будто во времена царя Алексея Тишайшего: доворачивал не кулак, а локоть. И, как заметил знаток старины Александр Ильич Дутов, удар от этого получался точнее, убойнее – если в него добавить чуть-чуть мускульной мощи – так и здоровенный бык слетит с катушек, только копыта взметнутся вверх...

Вот плечистый боец приблизился к противнику, зверски ощерил зубы, хакнул, вышибая из грудной клетки воздух, чтобы в теле не осталось пустот. Калмык тоже хакнул, но не так устрашающе – и вдруг нанес резкий удар. От свиста кулака в рукавице, кажется, провис брезентовый шатер. Народ даже забыл о семечках и перестал материться.

Молодые горячие парни – завтрашние солдаты – повскакивали со своих мест. Они болели за плечистого:

– Бей его!

Узкоглазый, услышав этот крик, лишь усмехнулся, сделал неуловимое движение корпусом, уклонился буквально «на чуть», и кулак соперника просвистел мимо. Сам же калмык не растерялся, драгоценного мига не упустил, саданул противника коротким ударом под мышку – у того, кажется, только печень гулко хлобыстнулась внутри. Плечистый охнул и согнулся в поясе. Калмык добавил ему еще.

– Э-э-э! – разочарованно протянули, садясь на скамейки, горячие парни, и дружно добыли из тужурок семечки – только шелуха в разные стороны полетела.

Третьего удара калмыку нанести не удалось – плечистый

боец сделал резкий скачок в сторону, разом становясь похожим на опасного зверя. Он проехался ногами по опилкам и, развернувшись лицом к противнику, выставил перед собой кулаки, обтянутые рукавицами.

– А-а-а! – одобряя, дружно заревели парни. – Молодца!

Плечистый мазнул рукавицей по воздуху, зацепил калмыка, потом нанес второй удар, за вторым – третий. Он на расстоянии пытался утратить калмыка, но у того эти простые движения вызывали лишь недоуменную улыбку.

Калмык переместился по арене в сторону и встал в стойку, согнув колени и выставив перед собой крупные, в порезах и шрамах руки. Теперь узкоглазый работал голыми руками, не боясь ободрать себе мослы, самоотверженно бросаясь на противника, как петух, решивший завоевать весь мир и потоптать не только хохлаток, но и прочую каркающую, крякающую, курлычущую, гогочущую живность, и это нравилось собравшимся.

Плечистый физически был сильнее калмыка, но тот брал ловкостью, стремительными бросками, напором. Литое приземистое тело его поблескивало от пота, гладкая кожа, напроць лишенная волос, лоснилась. Иногда он показывал в доброжелательной улыбке белые чистые зубы, следующий же миг улыбка исчезала, на лице проступало свирепое бойцовское выражение.

Дутов хорошо видел промахи плечистого. Немногочисленные, они были удручающе однообразны, повторялись

один за другим, и это наводило на мысль, что плечистый – слабый боец, который ошибочно полагает, раз сила есть, ума не надо... Калмык в этом отношении являлся экземпляром куда более любопытным. И техника у него была разнообразнее, и двигался он легче, и дышал не столь шумно, запаренно, и как молот работал, что одним кулаком, что другим. Дутов внимательно наблюдал за калмыком, широкоплечий сделался ему неинтересен.

Вот калмык приподнял одну руку, обнажив свое слабое место – бок. По нему можно врезать так, что почки отвалятся, а боец задохнется от боли. Дутов даже чуть не выкрикнул: «Что же ты делаешь-то?», но в следующий миг понял, что калмык сделал это специально – он заманивает противника, берет его на крючок, проверяет, клюнет тот на хитрую наживку или нет?

Плечистый кругом обошел калмыка, методично выкидывая перед собой кулак в рукавице, пробуя, что называется, воздух. Калмык, подставляя противнику неприкрытый бок, – дразнил его, опасно дразнил... Плечистый не выдержал, пошел на сближение – и тут же получил скользкий удар по подбородку, чуть не вывернувший ему челюсть. Он шарахнулся назад, но опоздал – калмык добавил ему еще пару ударов, а потом прыгнув вперед, ухватил за шею и резким движением заставил противника трижды развернуться вокруг своей оси.

С грохотом плечистый шлепнулся на арену, в опилки,

взбив ворох влажной древесной каши. Потом поспешно вскочил и, глянув на рефери – смешного человечка с рыжими бакенбардами, в клетчатых гольфах, плотно обтягивающих кривые ноги, и с желтыми, как у совы, глазами, – положил правую руку себе на грудь и поклонился калмыку. Калмык, по лицу которого пробежала недоверчивая тень, поклонился ответно. Судья поспешно сунул в губы свисток, дунул в него, объявляя перерыв.

Калмык нехотя отошел в сторону. Дутов оценивающе поглядел на него: боец ему нравился.

Дутов достал из кармана серебряный «мозер». Это был подарок отца-генерала к первому воинскому успеху сына – лычкам, которые тот нацепил на юнкерские погоны. Старые часы уступали другим часам Дутова – роскошным, золотым, украшенным бриллиантами, но иногда ему хотелось вспомнить прошлое, почувствовать себя беззаботным кадетом. Горло сдавливало что-то тоскливое, и он начинал бороться с собою, с внутренней маятой. Иногда ему удавалось справиться с ней быстро, иногда же на это уходило много времени и сил – старшина злился, ругался матом, а выругавшись, оглядывался настороженно, не услышал ли кто.

Он щелкнул крышкой «мозера», привычно скользнул взглядом по циферблату: пора бы начинать вторую часть поединка.

Конечно, знаменитые кулачные бои, про которые когда-то писал Лермонтов в «Песне про купца Калашникова», – это

совсем не то, не схожее с «судным поединком», которым потчевали оренбуржцев сегодня... Даже приветствие бойцов стало иным, хотя внешний рисунок сохранился старый.

Раньше, уходя на перерыв, кулачники – обозленные, горячие и мокрые от пота, поклонами не обменивались, а просто устало удалялись в разные углы бойцовского круга – делали это, словно не замечая друг друга, но и не выпуская соперника из поля зрения ни на мгновение. Сейчас же поклонами обмениваются, как наманикюренные дамочки, скоро, наверное, целоваться будут... Дутову сделалось неприятно, он будто ощутил прикосновение липкой паутины к лицу и недовольно дернул головой.

По косому проходу, ведущему к арене, вдоль лавок, шел корнет со щегольскими черными усиками и внимательно оглядывал ряды. Дутов, словно почувствовав это, обернулся, позвал корнета негромким голосом:

– Климов!

Корнет растянул губы в обрадованной улыбке:

– Господин войсковой старшина! Александр Ильич!

– Что-нибудь случилось?

– Юнкера младшего курса подрались.

Брови на лице Дутова взлетели, плотная кожа на шее сделалась красной.

– Ну и что? – спросил он.

– Как что, как что? Это же непорядок!

– Ну и что? – вновь повторил вопрос войсковой старшина.

Климов мигом вспотел. Хотел было расстегнуть крючки на вороте синего фирменного кителя, но отдернул руку:

– Они же могут покалечить друг друга.

Дутов отрицательно покачал головой:

– Никогда. В кулачных боях люди не калечат друг друга...

– Это что же, Александр Ильич, драчунов не надо наказывать?

– Не надо.

В это время на арене, взбив опилки ботинками, появился плечистый боец, приложил руку к груди и поклонился публике. В неприятной, острой тишине раздались хлопки – нестройные, жидкие, больше из вежливости, чем из преклонения перед его мастерством. Плечистый нагнул шею еще раз, и аплодисменты смолкли совсем.

Собственно, калмыку аплодировали также вяло.

Дутов поднял голову. Корнет Климов продолжал стоять над ним с недоуменным лицом. Кончики его усов обиженно дергались. Заметив в передних рядах кадетские мундиры, Климов приподнялся на носках и ткнул пальцем:

– А эти огольцы что тут делают?

– Смотрят представление.

– Кто им разрешил?

– Считайте, что я разрешил, – спокойно произнес Дутов. –

Идите, Климов, – холодным голосом посоветовал он, – не стойте над душой. И там, где нет греха, не ищите его.

Климов, скрывая досаду, козырнул и, бряцая шпорами,

стал пробираться по длинной пустой дорожке к выходу.

Тем временем бойцы сошлись вновь. Плечистый стремительно подступил к калмыку, нанес ему два удара кулаком. Удары были резкие и, казалось бы, отбиться от них невозможно, но калмыку удалось оба раза на сотую долю мгновения опередить их, и на потном лице плечистого каждый раз возникало удивленное выражение: он не мог поверить, что не достиг цели.

Плечистый боец снова нанес два удара, очень быстрых, один за другим, почти слившихся вместе, – они были как дулет, уйти от которого немислимо, – плечистый даже выкрикнул что-то победно. Но калмык и от них ушел. Кулаки соперника вновь только впустую разрубили воздух. Он сморщился, застонал от досады, однако, заметив, что узкоглазый собирается его атаковать, проворно отпрыгнул в сторону и замер на мгновение, выставив перед собой кулаки. Калмык тоже замер...

Это противостояние продолжалось несколько секунд. Плечистый вновь выкрикнул что-то гортанное, победное – криком подбадривая себя, – и прыгнул вперед. Калмык достойно встретил атаку... Плечистый словно бы в бревно всадился. От боли здоровяк изумленно распахнул рот, с его губ сорвался и лопнул пузырь, а в следующий миг он полетел в опилки. В полете широкоплечий ловко развернулся, выбросил перед собой руку и, будто опытный гимнаст, едва коснувшись ею пола, тут же вновь очутился на ногах. Дутов одоб-

рительно наклонил голову: грамотно сработал.

Через мгновение калмык нанес легкий, почти неприметный, удар плечистому в шею, тот крикнул, влетел грудью в опилки, но в следующую секунду вновь оказался на ногах. Дутов вторично одобрительно наклонил голову: наконец-то этот человек начал разумно драться.

Здоровяк снизу бросился на калмыка, ударил. Тот, уходя от атаки, изогнулся – хотел увернуться, но не успел. Мгновенно побелевшие губы его распахнулись, захватили немного воздуха, но недостаточно, чтобы погасить боль в легких, и он чуть не задохнулся от ошпаривающего ожога – будто кипятком облили. «Умело, очень умело», – оценил ход плечистого Дутов.

Калмык, гася боль, переместился к краю арены и, когда противник ринулся за ним вслед, ушел в сторону. Парни на скамейках возмущенно завывали – им не понравилось, что узкоглазый решил улизнуть от стычки. Вой подстегнул калмыка, он выпрямился, стиснул зубы, и бросился к плечистому. В следующее мгновение тот полетел в опилки – удар противника пришелся ему точно по подбородку.

Калмык вскинул над собой обе руки. Но плечистый стремительно вскочил, тут же шлепнулся вновь, и снова поднялся на ноги. Воля к победе, упрямство понравились зрителям, они захлопали ему.

Дутов огляделся. Многие из тех, кто сидел в шатре, наверняка, даже не представляют, что раньше на Руси проходили

не только «судные поединки» – драки до первой крови, но и бои с медведями. Вот это были зрелища!

Разъяренный медведь, которому минут за десять до поединка изрядно трепали задницу меделины и мордаши – собаки особой породы, не боящиеся косолапых, – очутившись один на один с человеком, не упускал из виду ни единого перемещения противника, расправлялся с двуногим «венцом природы» безжалостно. Медведи ломали людям хребты, кожу с головы сдирали чулком, а глаза выковыривали из черепа когтями-крючьями. Однако и косолапые, если ошибались, шансов уйти назад, в лес, не имели. Очень часто боец насаживал мишку на рогатину, как кусок мяса на вертел, либо молотил хрюкастого дубиной, а потом бросался на него с ножом и вспарывал тому брюхо...

Кто-то с передних скамеек, где сидели рабочие парни, крикнул:

– Кровь!

Но крови не было. Ни у калмыка, ни у плечистого. Всем известно, что кулачный поединок прекращается, когда у одного из противников появляется кровь, либо он падает на арену и никак не может с нее подняться. В таких поединках лежачих не бьют вообще.

Плечистый, загребая ногами опилки, прошел несколько метров по кругу, уходя от противника вправо, калмык за ним.

Сидевший рядом с Дутовым купец в красной дешевой ру-

бахе, на которую был натянут старый, с вытертыми рукавами пиджак, перегнулся к войсковому старшине:

– Господин полковник, не желаете ли сделать ставку на кого-нибудь из бойцов?

– Не желаю, – ответил Дутов, не поворачивая головы.

– Напрасно, – огорчился купец, – не то сгородили бы по маленькому интересу.

Дутов напрягся, уперся взглядом в пол. Купец вздохнул и обратился к соседу слева от него, бойкому малому в картузе, в пиджаке, карманы которого были плотно набиты семечками:

– Ну что, кинем по маленькой, а? На бойцов... Кто кого возьмет.

– Давай, – согласился малый.

– Выбирай. На кого хочешь поставить?

– Да вот на этого, мордастого.

– Крепкий вояка, – одобрил его выбор купец. – Поскольку сбрасываемся?

– По красенькой.

По красенькой – значит, по червонцу, одной ассигнацией.

– Давай добавим еще по синенькой, – предложил купец. –

Годится?

С синенькой «пятеркой» выходило итого пятнадцать рублей.

Малый, будучи доволен тем, что удалось сделать ставку на сильного бойца, а купец не стал сопротивляться и поставил

на слабого, был уверен в выигрыше. Он усмехнулся, произнес громко: «Годится!» и, сдернув с головы картуз, следом за купцом швырнул в него пятнадцать рублей.

Купец блефовал, пользуясь глупостью малого: шансов выиграть у плечистого не было. Это было видно невооруженным взглядом. Дутов отвернулся – не любил дураков, а еще больше не любил, когда дураков обманывали умные.

Плечистый тем временем снова провел атаку на калмыка. Два удара достигли цели, и калмык очутился на опилках. Публика заревела. Больше всего ревел соперник купца по пари – только подсолнуховая скорлупа летела в разные стороны:

– Знай наших!

Купец на этот рев никак не реагировал – лицо его хранило вежливое безразличие.

Калмык не успел подняться на ноги – на него сверху грузной копной навалился плечистый. Узкоглазый застонал, но нашел в себе силы вывернуться, и через несколько мгновений насел на плечистого. Собравшиеся снова зашлись в реве – они поддерживали сильного.

Плечистый согнулся низко и с маху саданул головой калмыка, будто врезал бревном. Тот ахнул сдавленно, отпрыгнул в сторону, ошалело закрутился на одном месте, но устоял на ногах. Потом веретеном прошелся по арене и нанес спаренный удар противнику, который не успел увернуться, согнулся вдвое и, выставив перед собой кулаки, задом отъе-

хал к краю арены.

Дутов неожиданно подумал о том, что такой же азарт рождали у публики менее жестокие, шапочные бои, ведь ловкости они требовали невероятной – крутиться нужно было волчком, чтобы сохранить на голове шапку.

Плечистый не имел таланта нападать, строить комбинации, наносить разящие удары, но обладал даром подражательства, перехвата приемов. Вот он и позаимствовал у калмыка манеру уходить от нападения, от прямых и кривых пробросов противника, – и теперь успешно использовал ее.

Дутов вглядывался, шурил глаза, пальцем оттягивал краешек века, так как слышал, что зрение тогда обостряется, и все предметы становятся четкими. Однако так и не засек момент, когда удары калмыка сделались ослабленными. Может, плечистый обладал гипнотическим даром? Если это заметит рефери, то под брезентовым куполом запахнет жареным.

Проворно переступая ногами, хрипя, – со стороны казалось, что хрип этот исходит от бойцовской злости, но шел он от усталости, – калмык снова приблизился к противнику. Воздух разрезали удары кулака. Калмык ощущал, что лишь касается тела плечистого, но дальше его не пробивает, словно рука зависает в воздухе. Это вызывало раздражение: противник – чего не было в начале поединка – очень ловко уходил от ударов. Такие бойцы попадались калмыку и раньше. Рецепт был только один – изматывать их.

Противник, уловив сбой в его дыхании, незамедлительно

пошел в атаку. Люди на скамейках загомонили – атаки калмыка почему-то волновали их меньше, чем силовые броски плечистого. Вот народ! Дутов помял пальцами костяшки на правом кулаке, вздохнул – ему неожиданно самому захотелось встать в бойцовский круг, взмахнуть кулаками, как это не раз бывало когда-то в детстве...

Бойцы, мелко перебирая ногами, двинулись по краю арены вначале в одну сторону, потом в другую, – непонятно, кто от кого уходил, то ли плечистый от калмыка, то ли калмык от плечистого... Пахло потом, карболкой, плохим хозяйственным мылом, самосадом – в сумраке зрительской массы кто-то нервно потягивал из кулака самокрутку...

Кадеты, сидевшие впереди, вели себя чинно, не галдели, не размахивали руками подобно восторженным кухаркам – они затылками и лопатками ощущали, что сзади сидит строгий воспитатель юнкерского училища, который запросто может свернуть им шеи. Впрочем, сам Дутов воспитателем себя уже не считал – уходил на фронт... Он снова помял костяшки кулака.

Затяжная борьба, развернувшаяся на арене, потеряла свою остроту, сделалась неинтересной. По проходу к дверям потянулись люди. Дутову тоже следовало бы уйти – свободного времени не было – но он даже не сдвинулся с места.

Калмык неожиданно сделал обманное движение, увлек плечистого в сторону, выкрикнул что-то горласто, воинственно – невнятный крик не разобрал никто. В следующее

мгновение он нанес левой рукой резкий, сильный удар. Плечистый среагировал вовремя. Успел он ответить и на второй такой же, а вот третий проворонил. Весь цирк, все ряды от первого до самого последнего, расположенного наверху, под крышей, услышали смачный громкий звук, будто бревно всадились торцом в тугую бычью тушу.

Плечистый отлетел в сторону, заметелил руками, но на ногах устоял, – это далось ему с трудом, – и развернулся лицом к противнику. Рот его изумленно распахнулся, наружу вывалился распухший, в пятнах крови язык, глаза полезли из орбит. Ряды затихли – метаморфоза была слишком неожиданной – плечистый промычал что-то невнятное, ноги, которые только что держали его, подогнулись и он рухнул на пол, лицом в опилки.

Несколько мгновений собравшиеся сидели молча – видимо, слишком неожиданным был исход показательного «судебного поединка», а потом словно бы гром обрушился из-под высокого брезентового купола – загрохотали аплодисменты. Победа калмыка была чистой.

Некоторое время победитель стоял недвижно, исподлобья разглядывая аплодирующие ряды, словно хотел понять, зачем люди отбивают себе ладони. . . Потом тихо, как-то несмело улыбнулся и поклонился публике.

Кадеты, сидевшие впереди, оглянулись на Дутова – поднялся войсковой старшина со своей скамейки или нет. Тот продолжал сидеть и отрешенно поглядывал на калмыка, не

аплодировал. Затем, как будто вспомнив о чем-то, неспешно хлопнул в ладони один раз, другой, третий... Услышав неторопливые хлопки начавшего рано грузнеть войскового старшины, кадеты вжали головы в плечи и также зааплодировали... Хлопали и оглядывались на Дутова.

Дутов поймал взгляд калмыка, удивился, что тот смотрит на него – видимо, зрение у бойца было, как у беркута, – и поднял руку, приветствуя калмыка. Победитель ответил тем же.

Война на западе шла уже давно. Вначале – с успехом для русских войск: немцев в первые месяцы теснили на всех фронтах так, что у них даже шишаки с касок отваливались – великий князь Николай Николаевич¹ умело руководил войсками. Потом удача отвернулась от России. Николай Николаевич был отправлен на Кавказский фронт поправлять здоровье виноградом свежего урожая, его место занял сам государь, человек интеллигентный, немногословный, мягкий, но совершенно невоенный – положение на фронтах начало стремительно ухудшаться.

Прошло немного времени, и настал черед запускать руку в «зачачку», выгрести оттуда свежие полки, формировать новые дивизии. С одной из таких дивизий собирался уйти на

¹ Романов – внук Николая I, дядя Николая II, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, Верховный главнокомандующий (июль 1914 – август 1915), потом наместник Его Величества на Кавказе, главнокомандующий Кавказской армией, войсковой наказной атаман Кавказского войска. Интриговал против Николая II.

фронт и войсковой старшина Дутов. Последнее время ему было тяжело находиться в Оренбурге – жизнь тут казалась пресной, на горло что-то давило, мешало дышать, в сердце часто возникала далекая боль, вызывая тревожные мысли.

Иногда на улице Дутов ловил на себе чей-нибудь удивленный взгляд, в глазах незнакомых людей читал немые вопросы: почему этот крепкий войсковой старшина находится в тылу, а не на фронте, что делает здесь, среди дамских юбок и хромых перестарков, обсуживающих лошадей и ремонтирующих дырявые телеги? Тогда Дутов невольно морщился, отводил в сторону потемневшие от досады глаза и старался думать о чем-нибудь постороннем. Он увлекался историей, изучал биографии римских полководцев, собирал справочники, в которых были сведения о битвах русских воинов с иноземцами, сочинял пространные трактаты, поскольку имел тягу к писательскому делу, обменивался посланиями с членами общества любителей истории, живущими в других городах.

Хотя у Дутова были дела в училище, он решил эти хлопоты на время отложить и, выйдя из дома, глянув на запаренное августовское небо, прыгнул в пролетку.

– Давай в казармы! – скомандовал он возчику.

В казарме формирующегося конного пополнения оказалось шумно, в коридоре толпились казаки, то и дело раздавались возбужденные выкрики.

Подойдя ближе, Дутов глянул в круг и неожиданно уви-

дел калмыка, того самого, что вчера так лихо разделался на цирковой арене с противником. Калмык, улыбаясь белозубо, показывал тяжеловесному, с висячими хохлацкими усами казаку приемы, которые могут пригодиться всаднику, если тот, потеряв коня, спешенным схлестнется с германцем.

– Германец очень боится косого кулака, – втолковывал калмык казаку, – не когда удар идет в нос, либо в глаз, а именно нанесенного сбоку... – Вот какой, – калмык повысил голос...

Он чуть согнул колени, присел, и в то же мгновение кулак его со скоростью молнии метнулся к лицу вислоусого – челюсть у казака сдвинулась в сторону, обнажив страшноватый, в белой, обрамленной черными жилами, наледи. Вислоусый запоздало ойкнул и тихо повалился на пол. Калмык удержал его, спросил, белозубо улыбаясь:

– Ну как?

Казак ошеломленно потряс головой, отер рукой свои висячие, делающие его похожим на Тараса Бульбу усы:

– Давай попробуем еще раз.

– Давай, – засмеявшись, согласился калмык.

Казак раскорячился, раздвинул руки пошире, словно хотел обнять ствол гигантского дерева. Крякнул пару раз, – кряканье это подбадривало и придавало ему силы, – ощерил зубы, становясь похожим на цепного пса:

– Давай!

Через несколько мгновений вислоухий опять лежал на по-

лу: калмык сделал неуловимое движение, выставил перед собой палец, а казак словно сам по себе наехал на этот палец и шлепнулся к ногам собравшихся. Лежа на полу, он покрутил головой неверяще и сплюнул:

– Вот нечистая сила!

Калмык прошелся глазами поверх голов:

– Кто-нибудь еще хочет попытаться счастья?

– Я хочу! – вновь сплюнул поверженный казак.

Собравшиеся с сочувствием засмеялись:

– Ерему только бочка вина может остановить.

– Никак не могу понять, что за сила швыряет меня на пол, – пожаловался вислоусый, – и момент этот гадкий уловить не могу...

– И не уловишь, – казаки, стоявшие вокруг, захохотали доброжелательно, они сочувствовали своему товарищу, – это, брат, как молонья: вжик – и у мужика на штанах ни одной пуговицы нету, руками надо поддерживать, вжик еще раз – и ты совсем голый... Это и фокус и покус одновременно, разгадке сие не поддается.

Вислоусый, не поднимаясь на ноги, грохнул кулаком по толстой, тщательно выскобленной дежурным половице.

– Хочу попробовать еще раз, – заявил он.

– А пупок у тебя, Еремеев, не развинтится? – казаки перестали хохотать – в их среде не приветствовалось, когда кто-то «заводился». – Так можно и коня, и шашку продуть... Силы свои рассчитал?

– Выдюжу.

Еремеев засопел, поднялся с пола, крякнул привычно и вновь широко расставил ноги – занял боевую позицию. Калмык пружинистым шагом пошел вокруг него... Вислоусый трижды выкидывал перед собою руку, будто рак клешню, стараясь достать противника, но тот, тихо посмеиваясь про себя, легко уходил от удара.

– Ай, да Еремеев! – дружно ахали казаки. – Еще три попытки – и копыта у иноверца отлетят в сторону.

– Ветром его скорее сдует.

Вислоусый, подбадриваемый криками, сделал еще три удара – ровно три, но все они повисли в воздухе. Наконец, калмыку это сотрясение пространства надоело, он, изогнувшись едва приметно, сделал неувловимое движение, и вислоусый опять полетел на пол.

В это время к Дутову сзади подошел младший урядник – писарь формирующегося пополнения, – тронул за плечо:

– Ваше высокоблагородие!

Войсковой старшина покосился, глянул на писаря через погон:

– Ну?

– В штаб на ваше имя пришел секретный пакет.

– Принеси!

– Не могу! Пакет-то секретный. Вам надо расписаться в журнале.

На лице Дутова отразилась досада.

– Принеси пакет вместе с журналом, – велел он.

В глазах младшего урядника мелькнуло сомнение, но в следующий момент он приложил руку к козырьку фуражки и исчез.

В пакете не было ничего секретного: Дутову предписывалось оставить формирующееся пополнение и немедленно выехать на фронт в Первый Оренбургский казачий Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.

Дутов не выдержал, улыбнулся довольно – в этом полку он когда-то уже служил, командовал сотней. Полк входил в состав знаменитой Десятой кавалерийской дивизии, начальником которой когда-то был граф Келлер². Слава о графе была широко распространена по всей России. Более популярного кавалерийского командира на огромной территории от Гельсинфорса до Владивостока не было. Сейчас граф командовал на фронте корпусом.

Из второй части предписания следовало, что Дутову надлежит на фронте сформировать пеший дивизион. Идею создания в конных полках пеших дивизионов Дутов поддерживал: это гораздо лучше, чем спешивать сотни и заставлять казаков воевать, как обычную инфантерию. А такое происходило всякий раз, когда надо было держать оборону, ли-

² Федор Артурович Келлер (1857–1918) – в 1906–1910 гг. командир лейб-гвардии Драгунского полка, генерал от инфантерии, командир 3-го кавалерийского корпуса. В ноябре 1918 г. – главнокомандующий всеми вооруженными силами на территории Украины в гетманской армии. 21 декабря 1918 г. убит петлюровцами в Киеве.

бо брать какой-нибудь сложный рубеж, который невозможно перемахнуть верхом на коне...

Вислоусый тем временем поднялся и удрученно покрутил головой:

– Однако силен ты, паря, – сказал он.

– Еремеев! – строго окликнул вислоусого Дутов.

Тот вытянулся, прижал ладони к бедрам:

– Я, ваше высокоблагородие!

– За мной!.. И-и... – Дутов окинул взглядом калмыка с головы до ног, – ты тоже!

– Слушаюсь!

Только сейчас Дутов понял, что калмыка он знает давно, еще по тем временам, когда тот работал мальчишкой на побегушках у француза, преподававшего ученикам Неплюевского кадетского корпуса гимнастику. Преподавателем француз оказался слабым, вскоре переместился в реальное училище, а потом и вовсе исчез. А калмык прижился в Неплюевском корпусе, затем поступил на работу к заезжим циркачам и отбыл с ними на гастроли. Пропадал он целую вечность и появился в Оренбурге лишь недавно, на кулачных боях в цирке. Дутов не сразу, но вспомнил его фамилию – Бембеев.

– Драться где так ловко научился? – спросил Дутов у него, хотя можно было и не спрашивать – понятно, где тот осилил эту науку. – У циркачей?

– У кулачных бойцов, господин войсковой старшина.

– Значит, у циркачей. Простому человеку эта наука не нужна.

Калмык понимающе улыбнулся, наклонил голову – жест был неопределенный: то ли тот соглашался с Дутовым, то ли, наоборот, протестовал.

– Простой человек вывернет кол из изгороди и начинает действовать им, как дубиной, – добавил Дутов.

Бембеев вновь неопределенно наклонил голову.

– А пятак согнуть сможешь? – спросил у него Дутов.

Отрицательно качнул головой калмык:

– Нет, – я не силой беру, а техникой. Приемами.

– М-да, – прорычал Еремеев, вытер широкой ладонью потное лицо, – тебе волю дай, ты одним пальцем всю казарму перещелкаешь.

Калмык вновь улыбнулся, но ничего не сказал. Он вообще предпочитал меньше говорить и больше молчать.

– Зачем мы потребовались вам, ваше высокородие? – любопытствовал Еремеев.

– Пришел приказ: меня отзывают из этого пополнения... Я уеду на фронт раньше. Через три дня отбуду...

– Возьмите нас с собою, – попросился Еремеев.

– Вот об этом-то и речь. Вас я зачисляю в свою команду.

Но надо набрать, как минимум, десять человек. На фронте, в Первом Оренбургском полку, нам надлежит сформировать пешую охотничью команду.

– Один такой человек у меня есть, хоть сейчас уйдет с

нами, – сказал Еремеев, – Сенька Кривонос.

– Надежный?

– Очень, ваше высокоблагородие!

– Одного человека мало. Десять, даже пятнадцать – вот сколько нам нужно.

Еремеев ожесточенно поскреб пальцами затылок, вздохнул озадаченно.

– Пошукаем, ваше высокоблагородие, – пообещал он, вновь поскреб затылок. – Пойду Сеньку искать. Он – мужик опытный, головастый, в казарме побольше моего обретается – всех знает.

Рабочему человеку или крестьянину уйти в ту пору на фронт было просто – кинул в мешок лапти, либо ботинки, полбуханки хлеба, складной ножик, пару луковиц, тройку картофелин – вот солдат и готов к путешествию. Подхватил ноги в руки и – вперед! На фронте интендант выдаст форменную рубаху со штанами, сапоги или ботинки с обмотками, шинелишку и мерлушковую шапку. Оружейник торжественно вручит старую винтовку с расхристанным стволом, которая может пулять и влево и вправо – куда угодно, словом, – и пожалуйста в бой, господин солдатик...

Другое дело – казак. Казака собрать на фронт сложно, он едет на передовую со своим конем, со своим оружием, со своей амуницией и сбруей. Иногда последнее продает, чтобы не ударить в грязь лицом перед своими товарищами и иметь справную сбрую. Хоть и предстояло Дутову сформировать

пешую команду, но казак, отправляющийся на фронт, даже если он будет там полковым парикмахером, обязан быть экипирован, как казак...

Так положено.

Вечером Дутов пошел к Неплюевскому кадетскому корпусу. Здание это примыкало к площади, на которой стоял губернаторский дом – огромный особняк, возведенный в николаевском стиле и окрашенный в серый цвет. Серый – очень практичный цвет, немаркий, ни дождь ему не страшен, ни солнце, ни снег...

Войсковой старшина смахнул со скамейки пыль и сел, подоткнув под себя полы плаща – здесь, на ветру, запросто можно застудить легкие и почки.

Оренбургский Неплюевский корпус. Хоть и считалось, что в нем учатся кадеты, а учащиеся кадетами не были. Во времена Александра Первого их называли военными гимназистами. Ныне же, при государе Николае Александровиче, и этого не осталось – военных гимназистов стали величать «подведомственными» – по принадлежности их к военному ведомству, и неплюевцы, как могли, протестовали против этого. Но ничего поделать не могли – роты в корпусе как назывались «возрастами», так и продолжали называться, на строевые занятия ходили «поклассно». В девять часов вечера свет гасили во всех помещениях корпуса кроме казармы, но и там вскоре все стихало и делалось темным – до шести утра, когда в коридоре начинал призывно петь горн, а

барабанщик отбивал сухую стремительную дробь на небольшом, но очень звонком инструменте, обтянутом козлиной кожей...

Господи, в этом здании была, кажется, оставлена Дутовым половина жизни. Дутов неожиданно ощутил, как у него расстроено задергалась щека.

Самой приметной фигурой у неплюевцев считался Пан – ротный дядька – красноносый человек без возраста. От плеча с погоном, твердым из-за вставленной в него фибровой пластинки, рукав его до обшлага был украшен золотыми шевронами... Пан столько лет находился на государственной службе, что годов этих уже и не сосчитать – потому-то на рукаве у него такое количество шевронов. По предположению некоторых, особо догадливых подведомственных гимназистов, Пан был ротным дядькой еще в пору, когда и Оренбурга не существовало в степи, – так что, сколько Пану лет, не знал никто.

На носу у Пана, когда он отчитывал какого-нибудь чересчур бойкого неплюевца, подрагивали крохотные, в золоченой оправе очки; дядька протирал их таким захватанным платком, что они делались еще более мутными – лучше бы он протирал их пальцами... Больше всего на свете Пан любил собственные нравоучения. Голос у Пана был рассохшимся и напоминал разговор двух скрипучих половиц, очки на его носу недовольно подпрыгивали, и старик перед собой выставлял, словно бы защищаясь, рукав с золоты-

ми шевронами и скрипел, скрипел, скрипел...

С годами Пан не менялся, он и в пору, когда Дутов еще только пришел в корпус, был таким же, и двадцать лет спустя, когда молодой офицер уже завершил военное образование, закончив Академию Генерального штаба. Время щадило Пана. А может быть, просто забыло, о нем.

Два дня назад Дутов видел старика. Тот шел по тротуару, выкидывал перед собой клюку, будто слепой, и глухо роптал:

– Это что же такое творится? Кадеты совсем перестали быть кадетами, в господа офицеры совсем не готовятся... Им надо быть офицерами, им присягу Государю Императору давать, а они играют в догонялки, будто ученики частной гимназии.

Дутов с улыбкой проводил Пана глазами...

Звали Дутова в гимназии по-разному. Одни – Дутьшем, как популярные коньки, другие – Теткой, третьи – Лукой, четвертые еще как-то, но большинство звало его просто Шуркой. Несмотря на отца генерал-майора, Дутов всегда и всем был друг и брат. Шурка Дутов делился последним, что у него было, мог постоять «на стреме», мог выручить и вне очереди вымыть пол в туалете. Отец его, лихой рубака, командовал головным полком в Оренбургском казачьем войске, имя его знали в каждой здешней станице.

Когда Дутов учился в Неплюевском корпусе, ему казалось, что время тянется очень медленно, почти не движется, а сейчас он был уверен твердо – годы, проведенные в Неплю-

евском кадетском корпусе, пролетели, как один миг. А ведь действительно было бы очень хорошо, если б они затормозили свой бег. Ни забот ведь не было, ни хлопот...

Неожиданно Дутов ощутил, как у него увлажнились глаза.

Он протестующе помотал головой, достал из кармана галлифе платок, с трубным звуком высморкался, усмехнулся, внушая самому себе, что он не хлюпик – хлюпики с трубным звуком не сморкаются...

Засунув платок в карман, Дутов поднялся со скамейки с недовольным видом – слишком расслабился, слишком далеко попытался забраться в прошлое. Он отер крепкой ладонью лицо, сделал несколько движений, словно бы отгоняя от себя нечистую силу, и покинул место, столь сильно напоминающее ему о детстве: подобные психологические опыты лучше не ставить, ни к чему хорошему они не приведут – прошлое не любит, когда к нему возвращаются, и очень больно бьет в отместку...

На фронт с войсковым старшиной Дутовым отбыло двенадцать казаков – основа пешей команды: Еремеев со своим приятелем Сенькой Кривоносовым, оказавшимся жилистым проворным мужиком с приметливым взором и длинными, как у обезьяны руками, – казаком из станицы Остроленской; его двое земляков – родных братьев Богдановых, говорливых, деловитых, крепких, с загорелыми одинаковыми лицами; городской сапожник Удалов; калмык Африкан Бембеев

и еще шесть человек.

Дутову определили место в офицерском вагоне, команде – в теплушке с отчаянно дымящей печкой. Жестяное колено этой печки было выведено в окно, на ходу она плевалась сильными ватными сгустками, чадила и опасно искрилась, словно бы в теплушке не люди ехали, а злобный Змей Горыныч.

Дутов навестил станционного коменданта – хотел переместить казаков к себе в вагон, но тот воспротивился, а при попытке сунуть ему в руку немного денег, отрицательно покачал головой:

– Благое желание, да, увы, – невыполнимое... Состав перегружен.

– А если прицепить дополнительный вагон? Для будущих героев войны!

– Во-первых, лишних вагонов нет, все расписаны на две недели вперед, а во-вторых, – локомотив не потянет.

Вскоре за окнами состава поползла ровная степь, искристая от неяркого, словно вымерзшего изнутри солнца, которое застыло в небе головкой сыра, обметанной льдом. В последние годы в степи было особенно холодно, наваливало много снега, он смерзался, запечатывал балки – там в него можно было уйти вместе с конем и до весны не выбраться. Твердый снег держался даже на гладких, до земли выскобленных лютыми ветрами лбах, и как ни пыжились ветры, как ни хрипели надсадно, а снег им не поддавался.

В одном купе с Дутовым ехали артиллерийский подпол-

ковник с черной повязкой на глазу, молчаливый, словно бы у него не было языка, и в противовес ему – очень говорливый поручик, который один говорил за всех, кто находился в купе. Четвертым оказался пехотный штабс-капитан, возвращавшийся на фронт из отпуска. Штабс-капитан постоянно кашлял, что-то выплевывая в ладонь, а потом задумчиво разглядывая выплюнутое. Отпуск он получил после газовой атаки, совершенной немцами на польском отрезке фронта...

Бескрайняя, белая, словно накрытая живым шевелящимся саваном степь ползла за окнами вагона долго – до самой Волги. У Волги, у моста, на два часа состав застрял – стоял на запасных путях разъезда, своей оживленностью напомиавшего маленький городок во время снежных баталий, которыми тешит душу разный праздный люд в Масленицу. Ждали, когда пройдут встречные эшелоны, потом на тихой скорости перекатили на противоположный берег реки, и там опять застряли – теперь пропуская воинские эшелоны, идущие на фронт: видимо, люди, сидевшие в тех вагонах, были фронту нужнее, чем оренбургские...

Станции, попадавшиеся по дороге, были затихшими, какими-то убогими, словно чуяли беду – большую беду, нависшую над Россией. Если раньше русские войска одерживали победу за победой, с литаврами прошлись по Западной Польше, пинками подгоняя отступавших немцев, до пуха общипали Восточную Пруссию с ее богатыми фольварками³, то

³ Фольварк (*польск.* folwark от диалектизма *нем.* Vorwerk) – мыза, усадьба,

сейчас с фронта приходили новости неутешительные. Невысокое воинское звание государя – полковник – практически лишало Николая возможности занимать большие посты в русской армии, но царь пренебрег этим, став главнокомандующим. Результат не замедлил сказаться: вскоре русские войска начали откатываться, теряя в этих беспрецедентных отступлениях и орудия свои и людей – тысячами...

У говорливого поручика с собою оказались большие запасы еды. Целая корзина вареных и жареных цыплят; караси, запеченные в сметане; кусок сала толщиной в ногу, аккуратно засоленный и обсыпанный красным перцем – по мадыарскому рецепту и много чего ещё... Поручик, обреченно махнув рукой, выставил корзину на стол:

– Господа, прошу отведать, что Бог послал. Моя Матрена Никаноровна наготовила от души – на целый полк.

Дутов от угощения отказался, проговорил, выплывая из своих мыслей, глухим баском:

– Спасибо! Я стараюсь есть из одного котла со своими казачами. – и отвернулся к окну.

Проезжали очередную серую, неприметную, ничем не отличающуюся от тысяч других подобных железнодорожных точек станцию – плоскую, с продавленной крышей крохотного вокзальчика и косою трубой, уныло глядящей в небо. Войсковой старшина вздохнул: эх, Россия, Россия! Что же

обособленное поселение, принадлежащее одному владельцу, помещичье хозяйство.

тебя ждет, дорогая?

То, что ждет страну, Дутов, однако, знал, не сомневаясь ни на грамм, ни на йоту, – победа. Победа в очень тяжелой великой войне – она будет обязательно, несмотря на все напасти, отступления и поражения. Маятник непременно качнется, и перед Россией забрезжит свет удачи, за удачей придут победы, на опустевших полях, заменяя погибших мужиков, появятся тракторы, – какие уже есть и в Европе, и Североамериканских Соединенных Штатах. Россия снова начнет выращивать хлеб и плавить металл, жизнь станет легкой, прекрасной и удивительной.

Трясаясь в вагоне, идущем на Запад, Дутов и так и этак обмозговывал свою будущую пешую команду, делал прикидки и пришел к выводу, что по структуре своей она должна походить на стрелковую роту. Основой команды конечно же станут люди, которых он везет с собой. А в дивизии ему надлежит найти еще несколько десятков таких же удальцов, больше вряд ли удастся. Остальных придется брать из пополнения, просеивая «свежачков» сквозь сито...

На деле все вышло не так, как он думал. Пеший эскадрон, которым надлежало командовать Дутову, оказался почти сформирован, – назвали его, правда, не эскадроном, не командой, а дивизионом, но, как говорится, от перемены мест слагаемых сумма не менялась. Дивизион уже успел показать себя в боях за хорошо укрепленные помещичьи фольварки, примыкавшие к Пруту, и потерял половину своего со-

става.

Встретил Дутова заместитель командира дивизиона подъесаул Дерябин – лихой, подобранный, будто пружина, готовая в любую минуту распрямиться, с серыми бесшабашными глазами и густыми пшеничными усами.

Подбежав к Дутову, подъесаул вскинул руку к козырьку:

– Господин войсковой старшина...

Дутов остановил его коротким властным движением:

– Полноте! Давайте без формальностей. Зовут меня Александром Ильичем. А вас как величают?

– Виктором Викторовичем.

Дерябин рассказал Дутову об обстановке на этом участке, о боях, в которых пришлось принимать участие пешему эскадрону, о том, какие новости бродят по Десятой кавалерийской дивизии...

– Наметки, кого можно взять в пеший дивизион, не делали, Виктор Викторович? – спросил Дутов.

– Как не делал? Делал. И самих казаков могу показать, живьем... И списки. Списки готовы.

– Вот это хорошо! – похвалил своего нового зама Дутов. – Вот это дело!

Формирование стрелкового дивизиона продолжалось до третьего апреля шестнадцатого года.

Разопревшая, набухшая теплом и влагой земля готова была принять в себя зерно, но вместо семенного жита ее на-

чинили шрапнелью. Многопудовые снаряды взламывали и швыряли под облака огромные пласты чернозема, выворачивая наизнанку поля и овраги – страшными воронками те сплошь исковыряли «географическую карту». Война и весна были несовместимы.

В низинах, в сырых кустах, затянутых туманом, уже заливались соловьи. Климат здесь был теплее, чем, скажем, где-нибудь под Москвой или под Орлом, потому сюда и весна приходила раньше, и соловьи начинали петь раньше. Казаки слушали волшебные трели с замиранием сердца, жесткие лица их невольно делались какими-то детскими, глаза становились влажными – так сильно птицы брали за душу.

С последним пополнением на фронт прибыл тот, кого Дутов совсем не ожидал увидеть здесь – корнет Климов. Побледневший, с впалыми щеками и знакомыми щегольскими усиками, он производил впечатление случайного человека, забравшегося не в свои сани. Дутов, не поверив глазам, посмотрел списки пополнения, нашел там фамилию корнета, отметил ее ногтем и только потом спросил:

– А вы, корнет, как тут очутились?

– Вот, – Климов, улыбаясь, развел руки в стороны, – прислали... Я попросился на войну и меня прислали...

– Смотрите, как бы вас тут... не затоптали, – с неожиданной неприязнью предупредил корнета Дутов.

– Бог не выдаст, свинья не съест, – продолжая улыбаться, ответил Климов.

Конечно, поступая по уму, Климова надо было бы переаттестовать в хорунжие. Но хорунжий – это казачье звание, а корнет не был казаком, происходил из учительской семьи, переехавшей в Оренбург из-под Херсона, да и не тянул он пока еще на казачье звание – скорее мог бы претендовать на звание пехотное. Дутов ощутил, как под правым глазом задергалась мелкая беспокойная жилка, приложил руку к выцветшей полевой фуражке, украшенной тусклой кокардой:

– Размещайтесь, корнет. Я вас обязательно приглашу к себе.

Казачий полк стоял в угрюмой, бестолково построенной, но справной деревне – каждый двор блистал здесь чистотой, подчас образцовой, показной, подле иных заборов казаки ходили на цыпочках и с робостью втягивали головы в плечи. У себя дома они также имели крепкие хозяйства и цену богатству знали, но таких хозяйств, как здесь, ни на Урале, ни в стране Чалдонии – бескрайней Сибири, – ни в степях тургайских, пахнущих чабрецом и полынью, не видели. Однако народ здешний жил не только богато – стенки амбаров расползались от зерна, коптильни и погреба – от поросячьих окороков, – но и очень обособленно: если где-то что-то случилось, сосед не спешил прийти на помощь соседу... В казачьих же станицах, даже самых бедных, все было наоборот – всякую беду одолевали скопом.

При виде русских солдат народ здешний предпочитал прятаться. Молодухи, те и вовсе забирались в погреба, боя-

лись, что какой-нибудь бравый поручик положит на них глаз. Впрочем, по молодому делу всякое случалось – и глаз клали, и кое-что еще... Особенно способствовали этому делу румынки – очень уж горячие бабенки водились среди них.

Бои шли ленивые – то с одной стороны малость постреляют, дадут пару залпов из винтовок и затихнут, то с другой стороны. В общем, воевали с переменным успехом. Ни то ни се, словом. А весна брала свое – кружила мозги, солдаты вздыхали, задирали головы, щупали глазами солнце, мяли воздух пальцами, кричали:

– А ведь пора семя бросать... И воздух уже прогрелся, и земля прогрелась.

Они были правы. Однако местные жители сеять хлеб не торопились. Во-первых, в земле было много железа, да и сама она сделалась очень кислой – уксус, а не земля, настолько пропиталась почва пироксилином⁴. Хлеба такая не даст, на ней не только хлеб – даже сорняки не вырастут...

Еремеев подбил пальцем свои висячие усы, зацепился глазами за жаворонка, висевшего в небе, послушал его призывную песню и проговорил недовольно:

– Пора-то пора, да только бюргеры здешние не дураки – хлеб они все же посеют, а есть его будем мы.

– Откуда знаешь? – прищурил глаз сапожник Удалов. – Мы к той поре знаешь, где можем очутиться? За Кудыкиной

⁴ Пироксилин – взрывчатое вещество, изготавливается из обработанной азотной кислотой целлюлозой.

горой – около Парижа.

– Ну, если не мы, то наши земляки, которые сменят нас.

Что, разве не так? А ты – Париж...

Сапожник, продолжая щурить один глаз, в смешную трубочку сложил губы, оттопырил их и издал короткий громкий свист:

– Так-то оно так, но может, и не так.

– Как карты лягут, так оно и будет, – убежденно проговорил Еремеев.

– Какие карты?

– Жизненные. Которые разыгрывают в штабе армии.

Еремеев отвернулся от Удалова, снова стрельнул острым взглядом в небо, нашел там жаворонка, послушал звонкую, далеко слышную песню.

– Хорошо, стервец, поет.

– Профессор!

Через несколько минут около казаков появился Климов – затянутый в ремни, с тонкой талией, с подбородком, выбритым до синевы.

– Готовьтесь! – предупредил он. – Сегодня ночью пойдете к немцам. Надо взять пленного.

Еремеев вытянулся, руки прижал к бедрам:

– Вдвоем прикажете идти, ваше благородие? Или с нами пойдет кто-то еще?

– Туземец пойдет. Ну, этот самый... – Климов пощелкал пальцами. – Ну, этот самый... – он вновь пощелкал пальца-

ми.

– Калмык, что ли?

– Во-во.

– Калмык – это хорошо, ваше благородие. В драке умеет толково действовать.

– Драка там не нужна – Климов недовольно наморщил лоб. – Плавать умеете?

– Умеем, – поспешно отозвался сапожник.

– А вы, Еремеев? – Климов перевел строгий взгляд на второго казака.

– Доводилось, ваше благородие, – неопределенно отозвался тот, отвел глаза в сторону.

Климова удовлетворил и неопределенный ответ.

– Готовьтесь! – сказал он. – Провожать на тот берег вас будет сам Дутов.

День тянулся долго, конца ему не было – никак не хотел уступать место ночи – в глубоком розовом небе возникали белые теплые всполохи, от них отделялись, во все стороны разлетались светлые перья, висели в воздухе, потом рассеивались нехотя, оставляя в душе сложное печальное чувство.

– Земля тоскует, – глядя на эти долго не исчезающие перья, взялся за старое Еремеев, – по плугу тоскует, по зерну, по рукам человеческим, по навозу... И небо тоскует, видите?

Вместе с Удаловым и Бембеевым он пробирался сырой ложбинкой к Пруту. Пока достигли воды – промокли. Казаки, ступая так, чтобы над головой не шевельнулась ни одна

ветка, одолели кусты и очутились у самой воды.

Вода в реке была темная, на середине, в течении, крутилось несколько воронок, жерла их смыкались друг с другом, рождали вихри. Брызги столбом поднимались, затем осыпались горохом в быстрое течение, взбивали рябь, подобно горячей шрапнели. От реки тянуло холодом. Стынь прошибала насквозь, казалось, что она может навсегда осесть в теле, в костях, в мышцах, застрять там, наградить живые души хворью.

Еремеев не выдержал, ознобно передернул плечами и выругался. Бембеев лежал рядом с ним, – покосился и неодобрительно покачал головой – тихо, мол, потом вновь прижал ко лбу ладонь и продолжил осмотр противоположного берега.

– Ну, чего? – поинтересовался у него шепотом Удалов. – Чего выглядел?

– Чего надо, то и выглядел, – также шепотом отозвался калмык. – Видишь, справа над кустами вьется дымок?

– Ну? – Удалов взгляделся в прозрачный, едва приметный хвост дыма, поднимающегося над неровной темной грядой. – Дым как дым.

– Не скажи. Немцы там оборудовали огневую точку. Пулемет у них там.

– Откуда знаешь? – недоверчивой сипотцой спросил Удалов.

– Ты учись, Удалов, простым истинам, покуда я жив, –

сказал калмык. – Справа тоже находится пулеметная точка. Видишь сухие кусты?

– Ну?

– Там у немаков стоит станковый пулемет на треноге. Чикаться эти ребята в рогатых касках не будут, чуть что – тут же возьмут на мушку.

– Это что же, выходит, что на этом участке переправляться через реку нельзя?

– Совсем наоборот. Только тут и можно... Немцы никогда не подумают, что мы здесь осмелимся залезть в воду. Прямо под пулеметными дулами... А мы залезем.

– Не накроют они нас?

– Не накроют, – уверенно проговорил калмык. – Как думаешь, Еремей?

– Не должны, – Еремеев не сдержался, поежился. – Да и в темноте накрыть не так-то просто. Мы в темноте – люди-невидимки... Таких приборов, чтобы обнаружить невидимку не изобрели. Меня другое беспокоит... – Еремеев содрогнулся, будто холодная речная сырость просочилась ему за воротник.

– Беспокоит? – калмык остановил взгляд на едва приметной тропке, выходящей на противоположном берегу из кустов к воде, по ней немцы спускались за водой. – Чего беспокоит?

– Да вот... – Еремеев смущенно поднес ко рту кулак, покашлял в него едва слышно, – то, что я плаваю не очень...

– Вот те раз! Как не очень? – калмык воззрился на Еремея. – Как топор?

– На воде я держаться научился, а вот дальше... Дальше дело пока не продвинулось.

– «Не продвинулось», – передразнил его калмык, сорвал травинку, росшую перед носом, покусал ее зубами. – На тот берег можно только вплавь переправиться... В общем, понятно, что нам надо либо плотик готовить, либо бревна резать. Может, тебе, Еремей, отказаться от вылазки?

– Да ты чего, земля!⁵ – Еремеев недовольно насупился.

Калмык выплюнул травинку, отполз назад и привстал в кустах:

– Все, мужики, уходим!

Напарники его, стараясь не шебуршать ветками кустов, отползли назад. Добравшись до ложбины, поднялись в рост, отряхнулись.

– Здесь лесок один есть, его немаки малость снарядами покروшили, – калмык ткнул пальцем в сторону, – надо бы перевернуть сушняк, выбрать себе кое-что. При переправе всякое полено может сгодиться...

– Особенно мне, – благодарно проговорил Еремеев. – Спасибо, друг.

Лесок находился недалеко. Несколько снарядов, угодивших в него, завалили десятка три деревьев, оставив среди стволов просеку. Калмык оглядел поваленные стволы, поче-

⁵ Земля – земляк.

сал шею:

– Без пилы или хотя бы без пары топоров нам не обойтись.

– Это мы добудем, – уверенно отозвался Удалов, – у меня кое-что есть на примете.

– Действуй! – блеснул чистыми белыми зубами калмык.

Удалов, дурачась, приклепнул к виску ладонь:

– Слушаюсь, ваше высокопревосходительство.

Через полчаса он приволок пилу:

– Вот, – проговорил удрученно, – думал, что добуду еще пару топоров, но с ними – прокол.

– Мы и пилой все сделаем так, что никакой топор не понадобится, – утешил его калмык.

Они выбрали два сухих, звонких, как стекло, ствола, вырезали из них три подходящих куска – таких, чтобы и кора не отслаивалась, и сучки, чтобы за них можно было держаться руками, имелись. Длину бревнам калмык определил небольшую – примерно по два метра...

Удалов усомнился:

– Не коротковаты ли будут? Удержат нас в воде?

У Бембеева на этот счет не было сомнений:

– Еще как удержат!

Закончив эту работу, он принялся постукивать костяшками пальцев по стволам поваленных деревьев – подбирал четвертый обрубок.

– А четвертый обабок зачем? – спросил любопытный Удалов.

– На всякий случай, – неопределенно ответил Бембеев.

Солнце вскоре покрылось легкой красной пленкой словно отонком⁶, – в нем будто бы сработалось что-то. Стало совсем холодно, горизонт стал неясным, вода в Пруте потемнела. Удалов, глядя на огромный, быстро бледнеющий диск, ознобно передернул плечами:

– Как где-нибудь на Яике в поганую ноябрьскую пору...

Солнце здешнее действительно походило на далекое степное, рождало в душе теплые чувства, – у Еремея даже лицо изменилось, теряя обычную жесткость, – он подумал о доме. Лишь один калмык оставался невозмутимым – ничто в его лице не дрогнуло.

В темноте обабки, как назвал бревна Удалов, подтащили к воде – сухие, легкие – не только взрослый мужик, даже пара пацанов могла справиться с ними. Бембеев, достав из кармана моток пеньковой веревки, связал обрубки. Еремеев потыкал калмыку в бок кулаком, одобрительно цокнул языком:

– Хитрый ты, Африкан!

Тот промолчал, козырьком приладил ко лбу ладонь, взгляделся в противоположный берег. Берег был пуст – ни одной движущейся точки, ни огоньков, ни всполохов костра, хотя, если приглядеться тщательнее, в двух местах в воздух поднимались кудрявые дрожащие хвосты – немцы, сидящие в окопах, жгли костры.

– Вечерний кофий греют, – констатировал Еремеев. – Ку-

⁶ Отонок – пленка, тонкая оболочка.

леш⁷ с копченым салом варганят.

– У немцев кулешей не бывает, – знающе заметил калмык, – они все больше по части капусты стараются. К капусте подают сардельки и хрустящий бекон.

– Сардельки? Это что за фрукт? – озадачился Еремеев.

– Колбаса такая. Ее варят. Едят горячей.

Еремеев озадачился еще больше:

– Первый раз слышу, чтобы колбасу ели горячей.

Сзади послышался шорох. Сквозь кусты кто-то пробирался. Бембеев птицей метнулся на шорох, беззвучно врезался в кусты и растворился в ночной черноте.

Через несколько минут вернулся с Дутовым.

– Ну что тут у вас? – шепотом спросил войсковой старшина, присел на корточки у самой воды, взгляделся в подрагивающий над течением мрак.

– Пока тихо, – поспешил доложить Еремеев – он любил «потянуть одеяло» на себя, – кофием как пахнет, а? Чувствуете, ваше высокоблагородие? – Еремеев повел носом по воздуху. – Дух какой летает, крылышками ангельскими по воздуху помахивает...

Никакого духа не было, пахло сыростью, распускающейся листвой, мокрой корой и чем-то гнилым – где-то невдалеке к берегу прибило труп.

– Стрельбы нет, – удовлетворенно произнес Дутов. – Хо-

⁷ Кулеш – суп, как правило, из пшена, с добавлением других ингредиентов (сало, копчености).

рошо живут немаки. В ус не дуют. Когда вы намерены переправляться?

– Через полчаса приступим, – ответил калмык, – чернота ночная пусть уляжется. Через полчаса будет в самый раз.

– Добро, – согласился с калмыком войсковой старшина. – Лишний раз не рискуйте... Кого из вас назначили старшим?

Бембеев переглянулся с Еремеем, Еремей с сапожником: старшего корнет Климов не назначил.

– Понятно, – Дутов стукнул пальцем в грудь калмыка. – Вот ты старшим и будешь. Без старшего лазутчики даже права уходить за линию фронта не имеют. Понятно?

Еремеев гулко хрястнул себя ладонью по шее и едва слышно, смятым шепотом выругался:

– Надо же, как рано тут просыпаются кровососы!

Сапожник стремительно присел, глянул в одну сторону, в другую, опасливо втянул в плечи голову, будто совсем недалеко увидел рогатые немецкие каски:

– Тише ты! Не то они сейчас рубанут по нашей компании из пулемета.

Дутов рассмеялся в кулак:

– Было б хорошо, если бы рубанули. Мы бы мигом эту точку нанесли на карту. Но немцы хитрые, не рубанут – сидят в траншеях, ветчину трескают, шнапсом запивают, а свои долговременные, хорошо обустроенные точки не выдают.

– На этот счет кое-какие наблюдения имеются, ваше высокопревосходительство, – сказал калмык.

– На той стороне всё засекайте, запоминайте. Понятно?

Тишина, повисшая над Прутом, вздрогнула, ее располовинил оглушающий резкий выстрел. За первым ударил второй. Одна из пуль пропела свою противную гундосую песню над макушками кустов. В воде тяжело шевельнулась рыба, от всплеска во все стороны сыпанули мальки, с полсотни их выскочило на мокрый берег, затрепыхалось на земле, будто клопы. Жизнь шла. Все в ней было расписано по одному закону – закону утоления голода: кто-то кого-то каждую секунду обязательно ел, и процесс этот был неумолим.

Через двадцать минут темнота сделалась такой плотной, что в неё можно запросто было всадить палку – держалась бы, как в повидле, которое на фронте иногда давали солдатам к чаю. В небе зажглись крупные редкие звезды.

Калмык выждал еще несколько минут и скомандовал:

– Поехали!

Одежду свою он ловко и аккуратно упаковал в сверток, обернул прорезиненным брезентом, перетянул пеньковым шпагатом – всё вода не доберется, – сверху пристроил карабин и беззвучно столкнул в воду бревна, связанные вместе. Следом, смутно белея телом, вошел сам, зябко передернул плечами:

– Однако! – Обернулся он и предупредил свистящим шепотом: – Еремей, если будешь бултыхать ногами, как бегемот, – отправлю обратно. Ты же всех нас завалишь – гансы засекут и порежут пулеметами.

Еремеев окунулся в воду с головой, высунулся и, держась рукою за бревно, как за любимую бабу, ловко отцикнул длинную струю:

– Не бойсь, не завалю.

Калмык сделал несколько сильных беззвучных гребков и исчез в темноте. Следом поплыл сапожник. Третьим – Еремеев.

Еремеев плыл, боясь упустить бревно, болтнуть ногой или сделать ладонью слишком громкий шлепок, переворачивался на ходу с одного бока на другой. Вместе с ним переворачивались, тихо соскальзывая с черного покатога неба, звезды, шлепались в воду, растворялись в ней. Иногда он видел впереди себя голову калмыка, либо Удалова, замедлял ход, соблюдая дистанцию, а, замедлив, потом начинал грести сильнее, чтобы не упустить напарников. Он плыл и удивлялся тому, как это у него получается. Временами ему казалось, что он не доплывет, и тогда Еремей начинал отчаянно высывать из воды голову, тянуться вверх и захватывать губами воздух, – боялся, что воздух вот-вот кончится, в рот хлынет вода, переполнит его и он пойдет на дно. Виски больно стискивал испуг, движения делались резкими – Еремеев греб из последних сил и через несколько минут поражался тому, что еще не на дне и не обирает вместе с усатыми сомами разную питательную налипъ с осклизлых камней...

Дутов сидел на берегу, напряженно вглядываясь в вязкую, сыро колышущуюся темноту, стараясь что-нибудь рассмот-

реть. Но ничего, кроме ночной черноты, он не видел, и прикладывал ладонь к уху, рассчитывая что-нибудь услышать, однако ничего, кроме тяжелого плеска воды, и не слышал...

Через два дня пешему эскадрону Дутова надлежало в полном составе вот так же ночью переправиться на противоположный берег: стратеги из штаба армии наметили на этом участке наступление.

Всяким мучениям когда-нибудь приходит конец, пришел конец и мукам Еремеева. Он уже научился сносно и бесшумно грести, управлять бревном и вообще освоил науку переправы, как к нему неожиданно приблизилась голова калмыка.

Бембеев появился будто водяной, зыркнул глазами по сторонам, ничего опасного не обнаружил, приподнялся и в коротком бесшумном прыжке перебросил свое тело на берег. Справа из темноты вытаяло еще одно неясное светлое пятно – Удалов. Удалов действовал так же, как и калмык – ловко, бесшумно, напористо, будто в его теле не было ни капли усталости.

Еремеев позавидовал им и в следующее мгновение чуть не охнул, ткнувшись ногами в мягкое, косо уходящее вниз, – Прут в этом месте был глубоким, – дно.

– Поспешай, ребята, – шепотом подогнал калмык казаков, настороженно оглядываясь и беря в руки карабин.

Он был уже и одет и обут, связанные спаркой бревна напо-

ловину вытащены на берег. Ловкий был человек этот Бембеев – рукастый, находчивый. Еремеев опять позавидовал ему, вытащил бревно на берег и поспешно прикрыл рукою срам, будто за ними наблюдали девки. В следующий миг понял, что рядом никого нет, и торопливо вытащил из брезентовой скрутки штаны. Через минуту и он уже был одет и обут.

– За мной, мужики! – калмык призывно махнул карабином, боком вошел в кусты – ни один листок не шевельнулся под нажимом его ловкого тела, следом в проход нырнул Удалов, за ним – Еремеев.

Загоняя дыхание внутрь, чтобы не оглушать себя и не позволить обнаружить свое присутствие противнику, они прошли метров двести в глубину, потом калмык остановился, присел и, оглядевшись, ткнул рукою вправо:

– Сюда!

На немецкой стороне калмык чувствовал себя как дома.

Но вот он неожиданно присел вновь и сделал знак, чтобы казаки присели тоже. Через полминуты из темноты показался немец в громоздком, не по его комплекции френче, весело просвистел что-то, будто птица, и на ходу сдернув с себя штаны, присел на корточки.

– А-а-ап! – подал он сам себе команду, с оглушительным звуком выбив из нутра содержимое, замычал освобожденно и сладко.

Сапожник переглянулся с Еремеевым.

– Видать, по части питания у германцев не все налажено,

как надо, – едва слышно шевельнул губами Удалов, – вишь, какую пальбу мужик открыл? Не приведи господь попасть под такой выстрел!

– Чего калмык медлит? Надо бы взять пердуна, да ходу назад.

– Не знаю, чего медлит... Видать, звание у этого «стрелка» маловатое. Ждет, когда офицер придет.

– Ну, офицер со своих харчей сюда вряд ли придет, – убежденно прошептал Еремеев, – да и организм у офицера будет потоньше, чем у этого першерона⁸.

Солдат напевал веселую песню и сам себе аккомпанировал, выбивая наружу звук за звуком.

– Вот так попали мы, – Еремеев выругался вновь, – думали, что идем в штаб, а пришли в нужник.

Сапожник не выдержал, хихикнул, стиснув свой круглый пористый нос-картофелину. Калмык сидел, не двигаясь. Наконец солдат поднялся, натянул штаны и неспешно удалился в темноту.

– Вперед! – скомандовал калмык и выюном скользнул на тропку, по которой удалился немец-«музыкант».

Удалов двинулся вторым, Еремеев – замыкающим.

Где-то недалеко, сидя на невидимом дереве, пугающе громко ухнула сова, Еремеев поежился: сова кричит – обя-

⁸ Першерон – порода лошадей, получившая название по области разведения Perche (Франция) и пригодная для использования в качестве тяжеловозов для сельскохозяйственных работ.

зательно жди неприятностей. Он поежился снова, но потом вспомнил, что опасаться надо не совы, а филина, и повеселел. Филин, тот действительно кладбищенский поселенец, дружит с нечистой силой.

Еремеев сбавил ход, присел, покрутил головой, осматриваясь, и не заметил, как в темноте исчезли его напарники. Он испуганно выпрямился, сделал несколько поспешных шагов по тропке вперед, разъехался сапогами по осклизлой земле и неожиданно увидел рыжего полнолицего немца, деловито шагавшего по тропке.

Похоже, рыжий направлялся в место, которое хорошо знал – слишком уж уверенным был его шаг. Остановился он перед Еремеевым всего в полуметре, глянул на казака безо всякого испуга. Хорошо были видны его маленькие поросычьи глазки, обрамленные белесыми ресницами, лоснящиеся веснушчатые щеки прижимистого тирольского крестьянина. Оловянная пряжка ремня косо съехала с туго набитого пуза.

Глаза Еремеева уже освоились с темнотой – за спиной рыжего он увидел калмыка, подававшего ему какие-то знаки. Стрелять было нельзя – разом всполошится весь немецкий берег, поэтому, недолго думая, Еремеев поднял карабин и что было силы всадил приклад в лоб немца. Ощутил, как под стальной пластиной, привинченной к торцу приклада, что-то промялось с мягким сырым хрустом...

Тиралец беззвучно распластался на тропке. Калмык изумленно покачал головой – не ожидал, что Еремей сможет так

ловко уложить здорового сытого противника.

Дутов тем временем напряженно вслушивался в тишину. Больше всего он сейчас боялся одного: вдруг на том берегу грохнет выстрел – это будет самым худшим из всего, что может случиться – трое лазутчиков тогда обречены, никакая подмога не сумеет облегчить их судьбу.

Над головой остро и противно запел комар. Дутов шлепнул себя ладонью по темени – комар продолжал зудеть, только переместился на другую сторону. Дутов шлепнул вторично – комар продолжал петь. Войсковой старшина выругался: – Вот скотина!

В его родных краях комары появляются лишь в летнюю пору, в июне – тощие, злые, желтые. Дутов зажато вздохнул: глянуть бы сейчас хотя б одним глазом на то, что делается дома. Йэ-эх...

Жизнь у семьи Дутовых всегда была непростая. Лучшую карьеру из всех поколений казаков Дутовых сделал отец войскового старшины – Илья Петрович, отличившийся в пору туркестанских походов. Блестящий наездник, рубака, он мог сутками не слезать с коня... Окончил офицерскую кавалерийскую школу в Санкт-Петербурге, после чего все время считал, что учился мало и, была бы возможность, учился бы еще. Но такой возможности у него не было, и он все последующие годы завидовал тем, кто получил хорошее образование, и лишь вздыхал. Однако Илья Петрович воевал, воевал

и довоевался до звания полковника.

Жена его, Елизавета, дочь простого казачьего урядника Ускова, так же, как и муж, могла лихо скакать на коне и крутить шашкой «мельницу». «Мельница» – штука непростая, клинок должен со свистом рубить воздух и вращаться в руке так, чтобы со стороны казалось, что он образует сплошной круг, без промельков, ежели будут заметны промельки, то такая «мельница», увы, в зачет не идет.

Даже когда во время ферганского похода Елизавета забеременела, то с коня не слезала. В этом походе, в телеге, под сладкое пение диковинных птиц, именуемых майнами, и появился на свет старший сын Дутовых Сашка. Произошло это пятого августа 1879 года, в городе Казалинске, Казахстан. Сам Дутов в своей биографии указывал, что родился в станице Оренбургской Оренбургского казачьего войска.

Через десять дней Саньку Дутова окрестили. Крестными стали родной дядя, Николай Петрович, сотник Оренбургского казачьего полка, считавшегося в войске Первым и носившего на знамени цифру «1», и жена войскового старшины Евдокия Павловна Пискунова.

Есаул Илья Дутов был счастлив, подкидывал первенца в воздух, ловил – проверял, не забойтся ли малец страшных полетов «под облака». Елизавета Николаевна с тревогой следила за мужем и сыном, но тревога ее была напрасной: Санька полетов не боялся, лишь гугукал по-птичьи, задирает голову, стараясь рассмотреть получше, что там на небе имеет-

ся. Широкое красное лицо есаула радостно светилось, и он, собственноручно сварив из кизила с сухим черным кишмишем бочку браги, поставил ее перед полком.

– Попробуйте, братцы, есаульского напитка, – провозглашал он, – в честь рождения моего сына, первого моего...

Ферганский поход продолжался. Через две недели полк остановился на отдых в зеленом кишлаке. Светило яркое солнце. Воздух был насквозь пропитан медовым духом дынь, на ветках персиковых деревьев ярко желтели, красуясь своими нежными замшевыми боками, крупные плоды, золотистые яблоки лопались от сахарного сока. Сладко пели птицы.

Елизавета Николаевна достала из повозки старый мягкий ковер, расстелила его, сверху бросила простыню и усадила сына. Сашка сидел на белой простыне, довольно шурился, ловил глазами солнце и лопотал сам с собою. О чем там он вел речь – понять было невозможно.

Мать вытащила из повозки сундук с вещами мужа, и теперь развешивала их на дувале – длинной глинобитной стене, окружавший двор. Вещи надо было обязательно просушить, не то они уже начали припахивать плесенью.

Неожиданно Елизавету Николаевну что-то кольнуло, будто бы острый гвоздь впился в тело: к Саньке подползала крупная серая змея. Елизавета Николаевна, словно ее загнипотизировала эта гадюка, не могла двинуться, у нее сделались ватными непослушные ноги, комок воздуха, застрявший в горле, стал твердым и тяжелым, будто кирпич. Жен-

щина стояла на одном месте, вздрагивала словно кукла, которую дергали за веревочки, тянула к сыну руки, пробовала вырваться из колдовского круга, но у нее ничего не получалось – змея была сильнее.

– Хр-хр, хр-хр, – захрипела женщина беспомощно, горячий воздух обварил ей лицо, руки также обожгло чем-то горячим, будто она сунула их в печь, прямо в открытое пламя.

А змея подползала к ребенку все ближе, на ходу, рывками, приподнимая голову, простреливая пространство черным колючим язычком.

– Хр-р-р, – продолжала беспомощно хрипеть Елизавета Николаевна.

Змея взметнула голову, качнулась всем телом, резким ударом пробила горячий воздух, хлопыстнула по земле тугим хвостом – хрип несчастной женщины ее раздражал. Горизонт перед Елизаветой Николаевной качнулся, поехал в сторону, ком в горле разбух, дышать стало совершенно нечем.

– Хр-р-р!

На кривой пыльной улочке, за дувалом, раздался топот – кто-то несся по ней во весь опор, земля трепетала под копытами бешеного коня. В следующее мгновение через дувал перемахнул здоровенный рыжий битюг со вспененной мордой – клочья пены летели во все стороны и шлепались на землю. Битюг, самозабвенно таскавший полковое орудие, совершенно не был приспособлен к скачке, и гулко хлопыст-

нулся копытами о закаменевшую землю. В то же мгновение раздался выстрел. Змея от выстрела вскинулась, серой молнией пробила воздух и шлепнулась на землю. С битюга соскочил есаул Дутов, прыгнул к змее, поспешно наступил ей сапогом на голову. Змея дернулась, ударила хвостом по земле раз, другой, третий. Дутов придавил ее голову сильнее.

Елизавета Николаевна почувствовала, что у нее вновь забилось остановившееся сердце, она застонала и будто подрубленный цветок повалилась на землю. Есаул выругался, пинком ноги отшвырнул в сторону вяло шевелившую хвостом змею, кинулся к жене.

– Ты откуда узнал, что змея хотела укусить Саньку? – очнувшись, спросила Елизавета Николаевна, прижалась к груди мужа.

– Откуда, откуда... От верблюда, – грубовато ответил есаул, в горле у него что-то заклокотало. В следующий миг он смягчился, погладил жену ладонью по спине, проговорил наставительно: – Следи за сыном, как за самою собой, не дай ему попасть в неприятность...

– Откуда ты все-таки узнал, что змея подползала к Сашке?

– погоди, малость отдышусь, – есаул прижал руку к груди, – даже сердце зашлось. – Он несколько раз шумно вздохнул, потом откашлялся в кулак, потянулся к Саньке. – Ты обратила внимание, он выстрела не испугался?

– Обратила, – эхом отозвалась Елизавета Николаевна.

– Значит, настоящим казаком будет, – в голос есаула на-

текли довольные нотки. – Тревожно мне что-то сделалось, я прыгнул на битюга, которого только что выпрягли из орудия, и понесся сюда... Знакомо тебе это чувство – внезапная тревога? А, Лиза?

– Очень даже знакомо.

– А уж как оно знакомо на войне, ты не представляешь, – есаул отер ладонью шею, глянул в желтое горячее небо. – Хорошо здесь!

Санька с недоумением продолжал глядеть на родителей.

За все это время он не издал ни звука.

Через четыре года в семье Дутовых родился еще один наследник, названный в честь популярного в России святого Николаем. Был Колька таким же, как и старший брат, пухлым, молчаливым, невозмутимым. Приписали его, как и старшего брата, к станице Оренбургской, к тамошнему полку.

В семь лет Санька пошел учиться в школу мадам Летниковой, но через некоторое время, поскольку собирался поступать в кадетский корпус, чтобы пойти по стопам отца-офицера, перевелся в школу Назаровой – дамы, отличавшейся кавалерийской выправкой и манерами командира образцового эскадрона. Правда, поучиться у мадам Назаровой благородным манерам и особым прыжкам на гимнастического коня долго ему не пришлось: отец претендовал на звание полковника, но для того, чтобы получить полковничьи погоны, требовалось поднабраться грамотенки, зачем и направили Ду-

това-старшего в Санкт-Петербург, в офицерскую кавалерийскую школу. Младшие Дутовы последовали вместе с родителями в блистательную российскую столицу.

Два года, проведенные в Санкт-Петербурге, пролетели, как один миг. Была бы возможность у Саньки остаться в столице – остался бы навсегда. Один, без родителей. Но пришлось возвращаться в Оренбург, пыльный, пахнущий степными травами, конской сбруей, верблюдами, жирным духом салотопень, вяленой рыбой, копченым мясом, костяной мукой, клопами и еще чем-то неуловимым.

В том же году, в жарком августе, Саня Дутов поступил в Неплюевский кадетский корпус.

Был Санька Дутов неповоротлив, пухл, щекаст, глаза имел маленькие, какие-то китайские, черные, часто хлюпал носом.

Про первые годы учебы в Неплюевском корпусе Дутов вспоминать не любил. До самого конца обучения терпеть не мог шагистику – строевые занятия, где под визгливое «ать-два!» приходилось впечатывать каблуки ботинок в землю по самые лодыжки. Делали это кадеты так старательно, что кажется, степь под Оренбургом колыхалась, а с трав слетали незрелые семена.

Еще больше шагистики Санька Дутов не любил гимнастику и танцы. На танцы к неплюевцам приглашали из женских гимназий девочек, которых Санька опасался, как весенней простуды: пристанет – потом ни за что не отделаешься, все

губы пойдут болячками.

Когда доводилось встречаться с кадетами других корпусов, те дразнили оренбуржцев довольно обидно – «неблюевцами». У Дутова по этому поводу случилось несколько стычек... В общем, показал он, что могут сделать «неблюевцы» с обидчиками – только красные сопли летали по воздуху, да пуговицы с орлами падали на тротуар, будто мусор. Если бы драку засек кто-нибудь из отцов-командиров, то не видать бы тогда будущему атаману не только почетного кресла, но и обычных офицерских погон – он даже до хорунжего не доскребся бы... Но – пронесло.

Перестал Дутов числиться «неблюевцем» в семнадцать лет, на дальнейшую учебу был направлен в такую желанную столицу Государства Российского – в Николаевское кавалерийское училище. Именно это училище считалось самым авторитетным у людей, любивших бряцать шпорами.

Отца Дутова, Илью Петровича, произвели уже в полковники, имя его сделалось известным всему Оренбургскому казачьему войску. Тому обстоятельству, что Санька стал юнкером, да еще такого училища, полковник Дутов был очень рад. Он обнял сына, похлопал его по спине крепким, тяжелым, как кувалда, кулаком и проговорил восхищенно:

– Ну, Санька... Молодец, огурец! – снова похлопал сына кулаком по спине, чуть дух из него не вышиб. – Теперь делай всё, чтобы портупей-юнкером стать – золотые часы с цепью тогда тебе обеспечены... Понял?

К золотым часам младший Дутов не стремился, но тем не менее пообещал, что «портупеем» будет. В училище портупей-юнкер – это нечто вроде помощника командира взвода, небольшой начальник. Примерно такой, как чирей на заднице – при случае может кое-какие неприятности доставить, но не больше.

– Если не заработаешь лычки, то опозоришь нашу фамилию... – отец разом поугрюмел, угрожающе покрутил перед собой пудовым кулаком, – в общем, ты меня знаешь и догадываешься, что я с тобою сделаю, – полковник подвигал из стороны в сторону тяжелой нижней челюстью.

Характер отца сын знал, поэтому в дебаты с родителем вступать не стал, а неожиданно возникшую злость выместил на Кольке – саданул ладонью по затылку так, что у того едва пара передних зубов не выпала.

– За что-то? – удивленно заныл Колька.

– Ни за что, – ответил старший брат, – если бы было за что, я бы тебя вообще на чердак загнал.

Портупей-юнкером Дутов сделался на старшем курсе училища, за полгода до выпуска, он до сих пор помнит этот день – одиннадцатого февраля 1899 года. Сашка получил повышение, несмотря на то, что путал левую ногу с правой и в юнкерском строю чувствовал себя яйцом, попавшим на промасленную сковородку – «ездил» во все стороны. Более чужеродного понятия, чем пеший строй, для Дутова не существовало, хотя другие юнкера – такие же «конные души» –

чувствовали себя в пешем строю довольно сносно. Он же словно был вылеплен из другого теста: как только надлежало становиться в строй, чувствовал, как у него начинают болеть зубы. Другое дело – казачья подружка лошадь. В седле он мог находиться сутки, даже двое и не уставать. И есть научился в седле, и спать, и бриться, и делать кое-что еще.

Один из дружков Дутова, юнкер старшей казачьей сотни Щепихин, как-то вечером спросил у своего приятеля:

– Слушай, Санька, верно говорят, что отец обещал тебя выпороть плетью, если ты не заработаешь лычек портупей-юнкера?

Дутов жестко, в упор посмотрел на Щепихина. Тому сделалось холодно.

– Неверно, – сказал Дутов, – и этот вопрос больше никогда нигде не поднимай. Понял?

Щепихин от такого взгляда даже съежился, в глазах мелькнули испуганные тени. Как выяснилось потом, через много лет, легкий испуг этот – будто перед носом неожиданно вспыхнула плошка с порохом – Щепихин пронес через всю свою жизнь, хотя и став биографом своего приятеля.

«Портупейские» нашивки Дутов заказал себе золотые – любил пофорсить. Он вообще считал офицерскую форму единственной одеждой, достойной мужчины. Отец регулярно присылал ему из Оренбурга деньги. Генеральское жалование, даже то, что выплачивали отставникам, было очень приличным, – и Дутов мог заказать себе все, что хотел.

Девятого августа девяносто девятого года Саша Дутов был произведен в хорунжие, и сияющий, молодой, розовощекий отправился в Харьков. Там стоял Оренбургский казачий полк, где Дутову надлежало служить.

В Харькове он, горделиво подбоченясь, ездил во главе казачьих нарядов, патрулировал улицы и с интересом посматривал на местных барышень. Они казались ему простушками, очень провинциальными, в сравнении со столичными барышнями, и главное – чересчур «пресными». Таких пресных барышень он, несмотря на боязливое в прошлом к ним отношение, не встречал даже в Оренбурге, хотя Оренбург, как известно, расположен от столицы гораздо дальше, чем Харьков.

Служил Дутов в казачьем полку недолго – менее года. Уже в июне девятисотого года его откомандировали в саперную бригаду, стоявшую в Киеве. Он надеялся изучить инженерное дело, в частности, узнать побольше о взрывных работах и возведении переправ – что, как он полагал, крайне необходимо всякому воинскому начальнику. Да и любой старший чин в звании есаула, войскового старшины, полковника, считал Дутов, обязан знать, чем отличается, допустим, мелинит от обычного пикрина, пикрин от пироксилина, форзейль от шампуньки, блиндаж в один накат от блиндажа трехнакатного. Ограничиваться лишь понятием лошадиных хвостов и мастей, задниц, грив, седел, шпор с малиновым звоном и шенкелей, – если, конечно, хочешь вырасти в должно-

сти чуть выше командира сотни, – нельзя. Чтобы заглянуть вдаль, надо хотя бы немного приподняться на цыпочках.

Впрочем, уже в саперной бригаде главным для него стало изучение телефона и средств связи. Для боя ни жестяной рупор, ни луженая глотка уже не подходят – достаточно одного пушечного залпа – и человек навсегда останется с открытым ртом... Современным боем надо учиться управлять.

Успешно сдав в бригаде экзамен, Дутов вернулся в Харьков. Там записался на курсы по электротехнике, которые только что открылись при местном технологическом институте. К этой поре он уже вполне сносно работал на телеграфном аппарате и при случае мог отбить «депешу» кому угодно, хоть самому государю.

Через два года Дутов был вновь направлен в Киев, в хорошо знакомую саперную бригаду, для дальнейшего изучения понравившегося ему дела – казачьи войска требовали специалистов широкого профиля. Хватит крутить лошадям хвосты и рвать себе пальцы, когда тот же хвост можно обрубить под корешок с помощью небольшого пироксилинового патрона – оттяпает под самый корешок, а лошадь этого даже не почувствует.

В общем, новым для себя делом Дутов очень увлекся и настолько глубоко влез в него, что в 1902 году был командирован в Санкт-Петербург, в Николаевское инженерное училище. Дутов провел там четыре месяца, сдав экзамены за весь курс училища – чем совершил самый настоящий учеб-

ный подвиг, из казаков переквалифицировался в военные инженеры и был отчислен в распоряжение соответствующего управления.

Такие люди, как Дутов, в армии теперь ценились очень высоко, ведь чем больше знал и умел офицер инженерных войск, тем больше вреда он мог причинить противнику. Хорунжий же умел не только шашкой махать, но и переправить через реку полк, починить колесо от пушки, замаскировать снаряды под репу, а капусту с морковкой, для обмана противника, – под снаряды, мог и заставить бездымно гореть обычный черный порох...

Вскоре Дутов вновь отправился в Киев – ему предстояло служить в саперном батальоне. Провел он там всего три месяца и был переведен преподавать в саперную школу, а оттуда – в телеграфную. Через несколько месяцев ему было присвоено звание поручика.

Лучшим военным учебным заведением той поры была конечно же Академия генерального штаба. Ее выпускники знаниями могли тягаться с профессорами, умели рассчитать по формулам любое великое сражение, знали латынь и арабскую военную терминологию. Щеголяли они поварским искусством Древней Греции, мастерством чинить взрывные механизмы, разгадывать клинописные письма и анализировать путаные политические обзоры, выуживая из них редкие крупицы информации, которая ценилась выше золота. Поступить сюда было также трудно, как вытянуть из тысячи

билетов один-единственный счастливый...

Однако Дутов решил поступать в Академию. Предварительные экзамены, как и положено, письменные, в штабе военного округа, он сдал довольно прилично, даже не ожидая, что получит столь высокие оценки. На радостях устроил в ресторане кутеж с цыганами, и напился так, что стал изображать городского, на которого надели конское седло...

Дальше экзамены надлежало держать в Санкт-Петербурге, уже в самой Академии. Так что вскоре Дутов сидел в «синем» вагоне, как на железной дороге величали вагоны первого класса, и похмелялся шампанским. Жизнь была прекрасна и удивительна.

Экзамены в стенах Академии считались особенно трудными, но Дутов одолел и их, однако проучился недолго, – он вообще нигде долго не задерживался, словно бы поспешность стала основной чертой его характера, – чуть более двух месяцев. После чего незамедлительно вернулся в свой саперный батальон. Батальон собирался отбывать туда, где грохотали пушки, в Маньчжурию, и Дутов, преисполненный желания совершить «что-нибудь героическое», добровольно решил принять участие в походе.

«Героическое» он совершил – домой вернулся с орденом Святого Станислава третьей степени и сразу же отправился в Питер, в Академию, продолжать учебу. Но с учебой не заладилось: Дутов отвык от нее. Он то не успевал сдать контрольную работу, то после бессонной ночи, одуревший от «дол-

бежки», опаздывал на утреннее занятие, то не являлся на дополнительный курс по тактике, то пропускал лекцию, которую читал придирчивый профессор. Результат был печален: Дутов выдали документы «без права на производство в следующий чин за окончание Академии и на причисление к Генеральному штабу». Это была оплеуха почище подзатыльников отца. Получалось, что из Академии он вышел человеком второго сорта.

Дутов ходил как пришибленный – тихий, незнакомый, с черными впадинами под глазами. Он много бы дал за то, чтобы повернуть время вспять и возвратиться в благословенную довоенную пору, когда «военный гимназист» только мечтал об Академии, примерялся к ней и самозабвенно бряцал шпорами, пытаясь отработать чеканный шаг, чтобы пройти в строю перед царем.

...На противоположном берегу Прута взвилась яркая, огромная, как шар, ракета, осветила недобрую, в лопающихся пузырях воду у берега, и в следующее мгновение погасла. За первой ракетой вспыхнула вторая, еще больше и ярче, чем первая. Дутов невольно сжался, втянул голову в плечи, отметил с завистью, что у немцев появились новые осветительные снаряды, проводил ракету внимательным взглядом...

Вернуть бы все на круги своя! Он уж постарался бы, вызубрил и язык жирных швабов, с которыми они сейчас вою-

ют, и английский, и французский, тогда бы не только знакомые дамочки, но и чопорные экзаменаторы наверняка умилились его «прононсу», при мысли о котором Дутова мутит до сих пор. Он перестал бы плавать, как обычный фельдфебель, в тактике – науке, обязательной для всякого офицера... Все подтянул бы Дутов, но – не дано... Это стало очевидным после экзамена по военной истории и стратегии, когда он ощутил себя необыкновенно тупым, словно бы все мозги из него выдуло вместе с вонючим дымом японских «шимоз»⁹.

Хоть и обидно было выпускнику оказаться за воротами Генштаба, но худа без добра не бывает. Дутов все равно вышел из стен Академии человеком куда более образованным, чем до учебы.

Вновь за Прутом поднялась белая ракета, взлетела бесшумно, и этой странной своей беззвучностью вызвала у Дутова простудный озноб. Мертвенный свет её бил войсковому старшине прямо в лицо, и он поспешно отодвинулся в тень густого пахучего куста.

На немецком берегу раздалась лающая пулеметная очередь – сонный пулеметчик бил в сторону реки, пули вяло шлепались в воду. Огневая точка эта была засечена ещё три дня назад. Дутов вздрогнул болезненно от мысли, что немцы

⁹ «Шимоза» – вид артиллерийских снарядов с особым сильно взрывчатым составом, изобретенным японским военным инженером Шимонозой.

накрыли разведку и теперь расправляются с ней, но тут же облегченно вздохнул – пулеметчик пустил очередь в сторону русского берега для острастки, не более того.

Войсковой старшина приподнялся над кустом, прислушался к звукам с противоположного берега. Было тихо.

После Академии Дутов вновь оказался в Киеве, в саперном батальоне, но пробыл там недолго – опять потянуло в дорогу, и он отправился в командировку в родной город Оренбург, в казачье войско, к которому был приписан...

Вскоре его зачислили в Оренбургское юнкерское казачье училище на должность преподавателя. На погонах у него теперь поблескивали четыре вождеденных офицерских звезды – несмотря ни на что, он стал штабс-капитаном.

Отец, постаревший, но сохранивший резкость движений, пахнувший хорошим табаком и настойкой – мать готовила чудесные настойки, баловала отца, – обнял сына, хлопнул его кулаком по спине. Потом откинулся назад, жадно вгляделся в Сашино лицо. Что именно произнес отец – не понять, что-то попало в глотку отставному генералу, глаза сделались влажными. Он откашлялся, мотнул головой и наконец произнес хрипло, – А все-таки ты дурак, Сашка!

Почему сын у него дурак, отставной генерал уточнять не стал, младший Дутов сделал вид, что не услышал резкого слова, и обнял Илью Петровича:

– Ты всё такой же ругатель, отец!

– Чего ему сделается, – поддакнула мать, в радостном волнении топтавшаяся рядом. – Выпить только ныне может больше, чем раньше. А так всё тот же.

– Цыц! – прикрикнул на жену муж, и тем перебранка в прихожей закончилась.

Командировка затянулась, Дутов продлил ее и вскоре вообще подал рапорт о переводе в Оренбургское казачье войско, по месту родовой приписки, а также о возвращении ему звания, которое носят казаки. Вскоре он был переименован в подьесаулы.

Прошло еще немного времени, и Дутов, уже будучи преподавателем юнкерского училища, получил звание есаула. Исполнял он также обязанности помощника инспектора классов, затем был инспектором – в общем, все время находился на виду и чувствовал себя в родном училище, как дома, гораздо лучше, чем в чопорной Академии.

Помимо собственно инспекторской работы он нес много нагрузок, что называется, общественных, побочных. Это занятия в исторической студии, исследования прошлого казачьих войск. Дутову пришлось организовать для земляков несколько спектаклей; кроме того, устройство вечеров, концертов – самыми веселыми, бесшабашными, запоминающимися стали Рождественские. Довелось ему некоторое время быть и ктитором – старостой училищной церкви, даже петь в хоре, поддерживая группу басов.

Дутов лечился от поражения, нанесенного ему в занос-

чивом Санкт-Петербурге, и не мог вылечиться. Временами на него напозала меланхолия, взгляд делался туманным, движения – медленными, вялыми. Рассказать кому-либо из близких о том, как глубоко сидит в нем обида, что пережил он в Академии, не хватало мужества: что-то внутри мешало.

Работа Дутова в училище была достойно отмечена. В декабре 1910 года он узнал, что награжден орденом Святой Анны третьей степени. Через два года, также зимой, – декабрь оказался для Дутова счастливым месяцем, – есаул Дутов был произведен в войсковые старшины. Звание это считалось среди казаков очень высоким.

Пир он тогда закатил на весь мир – по-оренбургски. Сухой из стерляди, пельменями из трех видов мяса, кавказским шашлыком. Не обошлось без катания на санках со снежных горок. В Оренбурге тогда останавливался торговец рождественскими петардами, приехавший из Китая, – маленький, кривоногий, горластый, узкоглазый, – он отобрал четыре десятка петард для фейерверка и доставил Дутову прямо на дом. Темное небо над Оренбургом украсилось сиреневым, зеленым и красным салютом.

Принеся домой новые погоны с двумя просветами и тремя звездами, Дутов, щурясь победно, спросил у отца:

– Ты во сколько лет стал войсковым старшиной?

– В сорок семь, – ответил тот спокойным, ровным, хотя и недовольным тоном.

– А я в тридцать три, – торжествующе рассмеялся сын.

Глаза у отца сделались темными – признак гнева, – потом начали медленно светлеть, на щеках появилась легкая, как у юноши пунцовость. Он так ничего и не сказал сыну, лишь молча протянул руку, прося показать погоны. Тот вложил их ему в ладонь. Погоны были парадные, с жесткой прокладкой, каптенармус для удобства перетянул их узкой муаровой лентой.

Отец отставил в сторону правую ногу, немо зашевелил губами, лицо его отмякло, становясь молодым.

– Дай Бог, чтобы в этой трудной дороге ты пошел дальше своего отца, – наконец проговорил он, щелкнул пальцем по одной из звездочек. – В нашу пору металлическое шитье погон было лучше, – Илья Петрович не сдержался, тихо вздохнул, – мастерицы были лучше.

Сын неожиданно заметил, как у отца задрожал рот, лицо, только что казавшееся молодым, постарело, осунулось, плечи согнулись, опустились. Новоиспеченному войсковому старшине стало жаль генерала. Он кинулся у отцу, обнял:

– Отец.

Старший Дутов ответил объятием на объятие сына.

В армии того времени не присваивали очередного чина до той поры, пока офицер не приобретал так называемого «годового ценза». Это означало: для того, чтобы стать поручиком, подпоручик должен был определенный срок отслужить командиром взвода. Штабс-капитаном и капитаном он не мог стать, не послужив командиром роты; полковником

– не побывав в шкуре командира полка. И это правильно: всякий офицер должен познать армейскую жизнь, не только глядя на нее из окна штаба или с высоты пролетки, поставленной на бесшумные дутые колеса, но и оказавшись среди потных солдатских рядов.

Для приобретения годового ценза Дутов, – иначе бы чина войскового старшины ему не видать, как собственных ушей, – был направлен в дивизию знаменитого графа Келлера, считавшегося в России не только лучшим кавалерийским генералом, но и лучшим наездником, – попасть под начало графа было очень почетно. Пожалуй, в первый раз после петербургского академического поражения Дутов почувствовал вкус к службе. Надо было показать себя...

Он вернулся в Оренбург сразу с несколькими благодарностями, полученными от графа. Боль, сидевшая в душе, сделалась чуть глуше.

– Еремей, осмотри этого битюга, – велел калмык, напряженно вглядываясь в темноту, не покажется ли кто еще на тропке. – Вдруг какие-нибудь нужные бумаги есть?

– Вряд ли чего, кроме двух салфеток для подтирания задницы, мы у него найдем, – угрюмо пробормотал Еремей.

– Почему так считаешь?

– Да потому, что это – обычный пожиратель тушеной капусты со свиными шкурками. Таким секреты не доверяют.

– Все равно обыщи!

Еремеев, обыскав, проговорил трескучим шепотом:
– Я же говорил... Ничего нету!

Невдалеке неожиданно загавкал пулемет, голос его, оглушающе громкий, выбил у Еремеева на коже мурашки. Калмык, стоявший рядом с ним, исчез, будто ввинтился в землю. Еремеев изумленно распахнул рот – чудеса какие-то...

От пулеметного стука под ногами тряслась влажная, хорошо утоптанная тропа. Резкий сильный звук готов был продавить барабанные перепонки. Огненная очередь, искрясь, веером прошла по черному пространству, взрыхлила его и исчезла. Запахло химическим дымом, кислым и едким. Еремеев поспешно зажал пальцами нос: солдаты на Западном фронте были напуганы газами.

Из темноты вновь вытаял калмык, махнул рукой:
– За мной!

Они прошли по тропе, свернули влево, слышали тихий говор, остановились. Калмык придавил ладонью воздух, приказывая затаиться, сам беззвучно продвинулся дальше и опять растаял в темноте.

Метрах в пятнадцати от тропы был вырыт окоп, на дне которого горел костер, – огонь был зажат стенками окопа, его не было видно, – у огня сидели двое солдат и варили в котелке картошку. Калмык внимательно оглядел немцев, ощупал глазами погоны и недовольно покачал головой – ни уголков на погонах, ни кубарей, ни лычек – обычное необученное пушечное мясо... А нужен был офицер. Знающий все о пу-

леметах, установленных на берегу Прута, о передислокациях в войсках и о том, какие силы подтягиваются к реке.

Калмык посмотрел на солдат сожалеюще, напоследок вновь зацепился взглядом за погоны и исчез в ночи. Вернувшись к напарникам, скомандовал им:

– Двигаемся дальше!

Через пятнадцать минут они вышли к блиндажу. О том, что этот блиндаж штабной, свидетельствовало присутствие часового – громоздкого, как шкаф, пехотинца с карабином за плечами. Карабин был кавалерийский, укороченный, выглядел на литом плече каким-то игрушечным, несерьезным.

Из блиндажа вылез долговязый, тщательно причесанный офицер с витыми серебряными погончиками, что-то сказал часовому. Тот тяжело бухнул каблуками огромных сапог. Офицер задрал подбородок, некоторое время молча изучал небо, потом бросил часовому еще пару отрывистых фраз и исчез в блиндаже.

Калмык поспешно отполз по тропке назад, скомандовал напарникам:

– Будем брать офицера в блиндаже.

– Это дело, – едва приметным шепотом одобрил решение старшего Еремеев, – только шума может быть столько, что его даже в Могилеве услышат.

– Плевать, – сказал калмык и вытащил из узкого кожаного чехла небольшой, ловко легший в руку нож.

Через несколько мгновений он стремительно вывалился

из темноты, полоснул гиганта часового лезвием по глотке. Тот даже звука не издал, только открыл изумленно рот и повалился на спину. Еремеев с Удаловым подхватили тяжелое тело под мышки, отволокли в сторону.

Калмык ткнул пальцем, приказывая Удалову занять место часового, тот проворно занял «освободившуюся вакансию», на всякий случай стянув с плеча карабин. Еремееву калмык приказал двигаться следом за собой, страховать с тыла. Тот поднял руку, показывая, что все понял, и Бембеев неторопливо, без единого звука потянул на себя дверь блиндажа.

В блиндаже, за сколоченным из досок столом, сидели, уткнувшись в карту, два офицера. Один – что выскакивал на улицу к часовому, второй – седой, малоподвижный, с крупным красным шрамом, перечеркивающим левую щеку от скулы до подбородка. В углу блиндажа телефонист, борясь со сном, ковырялся в проводах – что-то у него не совмещалось, работа была нудная, утомительная, и телефонист, не стесняясь офицеров, откровенно зевал.

Калмык показал напарнику на телефониста – возьми, дескать, этого деятеля на себя. Еремеев в ответ нагнул голову. Один из офицеров – тот, который выходил, – настороженно поднял голову – что-то почувствовал. В следующее мгновение калмык, ветром ворвался в блиндаж. Еремеев – страшной быстрой тенью, – следом. Миновав стол, Еремей хлопыстнул телефониста прикладом по темени, – прием этот был отработан у него до автоматизма, – телефонист ткнулся

головой в провода, которые держал перед собой, и больше не поднялся.

Потный малоподвижный толстяк был старше сослуживца по званию, но зато в два раза больше, стар и неуклюж – доставить его на свой берег было бы трудно. Поэтому калмык сделал короткое быстрое движение и полоснул толстяка ножом по горлу. Тот захрипел, и Бембеев, обрывая крик, ударил его торцом рукояти по голове. Толстяк ткнулся лбом в стол.

Калмык сгреб в кучу карту, ухватил окаменевшего от ужаса оставшегося офицера за шиворот и оторвал от стула. Офицер распахнул рот, просипел что-то надорвано, калмык двинул его кулаком в нос и показал пальцем на выход:

– Вперед!

Тот, держа руки над головой, послушно двинулся к двери, но по дороге зацепил носком сапога за земляной выступ и чуть было не растянулся на полу. Бембеев, сделав рывок вперед, повис над ним и ухватил рукой за воротник. Снова ткнул пальцем в дверь:

– Вперед!

Немец вновь поднял руки.

Оказавшись снаружи, калмык спросил у Удалова шепотом:

– Ну как? Все тихо?

– Как в гробу.

– Тьфу, тьфу, тьфу! – калмык суеверно поплевал через

левое плечо. – Тихо, как в гробу, нам не надо!

Он ужом скользнул на тропу. Пленного погнажи следом.

Пленный, понимая, что русские лазутчики запросто могут ему проредить челюсти, не сопротивлялся, послушно сворачивал по тропке, старался, чтобы в кармане ничего не бряцало, замирал, когда калмык давал команду остановиться, зубами зажимал рвущееся из глотки дыхание и ждал команды бежать дальше. Немец был покорный, усталый, уже битый войной, из тех, кому она надоела.

Прошло несколько минут, и лазутчики очутились на берегу Прута. Удалов, тяжело дыша, опустил на корточки, притиснул к губам ладонь, чтобы не был слышен его хрип.

– Кажись, всё, – пробормотал, стискивая рот в кулак, – прошли без сучка... Повезло.

– Не говори «гоп», пока через тын не перемахнешь, – предупредил его Бембеев, подтягивая за веревку к берегу два связанных вместе бревна.

Проворно скинув с себя брюки, он через голову стащил гимнастерку, оставшись в рубахе и белых кальсонах, хорошо видимых в темноте.

– Вот и пригодился нам четвертый, – сказал он, развязывая узлы веревки и располовинивая обрубки с торчащими на манер гребеночных зубцов сучьями, – вот и пригодился... Раздевайся, господин хороший, – велел он немцу.

Тот все понял и начал торопливо расстегивать китель. На шее у немца болталась цепочка, на ней – то ли медальон, то

ли маленькая иконка, яркий металл призывно проблескивал сквозь темноту, пленный прикрыл его рукой и ступил в холодную ночную воду Прута.

– Правильно, – одобрил его действия калмык.

В следующее мгновение он сделал несколько гребков и пустился в плавание, немецкий офицер послушно последовал за ним. Замыкающим уходил Удалов: неторопливо огляделся, положил карабин на бревно и ногами оттолкнулся от берега.

На оставленном ими берегу загрохотал пулемет, очередь привычно вспорола пространство. Калмык прильнул к бревну. Пули прошли низко над водой, впечатались в противоположный берег, срубили какой-то слабенький, едва державшийся за осыпающуюся глину куст, тот с шумом свалился в воду.

Калмык вновь выпрямился, за сук подтянул к себе бревно, на котором лежал немец, и велел ему проворнее работать руками. Пленный послушно заработал ладонями, обогнал «корабль» Бембеева.

– Молодец, фриц! – одобрительно отплюнулся калмык, употребив недавно появившееся на фронте словцо.

Противоположный берег, на котором находились русские, сонно молчал. Рыба, которая так шумно плескалась в воде перед заходом солнца, исчезла, словно бы вымерла, – безжизненной стала река и сколько ни гребли лазутчики, чтобы приблизить берег, а он все никак не приближался. Бембеев

до боли в глазах вглядывался в черноту, ничего не находил и продолжал устало грести дальше. Рядом с ним также напряженно, выбиваясь из сил, греб немец. Бембеев ни на мгновение не выпускал его из вида.

Временами калмыку казалось, что он остался один, совершенно один в огромном черном пространстве, которое ему никак не одолеть, что нет ни Удалова с Еремеевым, ни пленного немца, все ушли на дно Прута, и тогда он невольно прижимался к бревну, вдавливался подбородком в скатку одежды, вновь простреливал глазами пространство, морщился от того, что ничего не мог увидеть и делал усиленные гребки ладонями. Вздыхал свободнее, когда видел рядом с собою бревно с вяло сгорбившимся немцем. Потом глаза выхватывали из темноты Еремеева, помогавшего немцу грести – Ерема подталкивал его бревно торцом приклада, – калмык вновь вздыхал, выплевывал изо рта воду и слышал свой тихий хрипловатый голос:

– Поторапливайтесь, ребята, поторапливайтесь!..

Едва достигли своего берега, как из густоты кустов вывалился казачий наряд, пловцов подхватили под мышки и потащили в глубину леса:

– Здесь опасно, задерживаться нельзя... Пошли, пошли! Господин Дутов уже заждался вас.

– А где его высокоблагородие? – спросил калмык. – Доложить ведь надо.

– Сидит в двух километрах отсюда, выше по течению...

– Это так нас отнесло?! – неприятно удивился Бомбеев. – Ничего себе теченьице! Как на Яике...

Пленный оказался ценным собеседником, достойным – рассказал о всех новинках, вводимых в германской армии; Бембеев, Еремеев и Удалов были за поимку важного пленника представлены к Георгиевским крестам, и вскоре Дутов перед строем пешей команды вручил их бравым разведчикам.

– Трое храбрецов совершили вылазку, не сделав ни одного выстрела, – сказал Дутов. – Урон германцам нанесен такой, будто на ту сторону сходил весь наш пеший эскадрон. Вот как надо воевать! – Дутов взметнул над собой кулак, потряс им.

Над строем летали стремительные, будто пули, шмели, пахло цветущей сиренью и медом, воздух был чист и плотен.

– Через несколько дней нам предстоит идти в наступление, – сказал Дутов, – готовьтесь к нему, казаки. Войну эту во имя государя нашего, России и православной веры мы выиграем.

Он прошелся вдоль строя, остановился около Климова, вытянувшегося с застывшим лицом, оглядел его, остался доволен, передвинулся вдоль строя дальше, вновь остановился. Вторично взметнул над собой кулак и рубанул им воздух:

– Обязательно выиграем!

Ночь двадцать восьмого мая шестнадцатого года была

темной, глухой, в ней вязли все звуки. С неба сыпался мелкий противный дождь, шуршал неприятно, опускаясь в траву, на листву деревьев, собираясь в воронках, в кузовах разбитых парконок, в торчащих на попа медных артиллерийских гильзах на бывших позициях, пропитывал насквозь одежду. Казаки матерились.

Готовность номер один была объявлена еще вечером. Еремеев достал свой ситор¹⁰, развязал веревку, заглянул внутрь. Скарб у него, как, собственно, и у всех казаков, был простой – пара чистого белья на случай, если где-нибудь удастся принять баньку, запасные портянки, иконка Богородицы, ложка с вилкой, полотенце и разная исходная мелочь от иголки с нитками до мятого, выдавшего виды котелка, завернутого в немецкую газету. Такой же немудреный скарб был и у Удалова. Правда, кроме иконки у него еще имелся молитвенник.

– А у тебя, Африкан, иконы есть? – спросил Еремеев у калмыка.

Удалов запоздало придавил сапогом ногу Еремеева:

– Ты чего это, Еремей? Он же – другой веры.

– Я – некрещеный, – просто ответил калмык.

– Так давай мы тебя... это самое... окрестим.

Сапожник вновь надавил на ногу Еремеева, тот отмахнулся от него, будто от комара:

– Не мешай!

– Ты чего затеял? Сейчас оскорбленный Африкан схва-

¹⁰ Ситор – солдатский вещевого мешок.

тится за пику и проткнет тебя насквозь.

– А чего, окреститься – это дело хорошее, – неожиданно произнес Бембеев, – среди калмыков тоже есть крещеные...

– Вот видишь, – назидательно проговорил Еремеев, отодвигаясь от приятеля.

– Только с этим делом спешить не надо, – проговорил Бембеев, – закончится наступление – можно будет и окреститься.

– А у калмыков какая вера? – Удалов хитро сощурил глаза. – Мусульманская?

– Нет, – Бембеев качнул головой. – Мы – буддисты.

О таковых Удалов даже не слышал. Поинтересовался:

– Это кто такие будут?

Калмык махнул рукой:

– Потом расскажу, – он придвинул к себе аккуратно сшитый, с двойным дном ситор, заглянул внутрь, имущества у него было еще меньше, чем у Еремеева.

– Это правда, что вы, русские, перед тем, как пойти в атаку, надеваете чистое белье?

– Правда, – Еремеев достал из сидора чистую рубаху, – умирать положено в чистом. Самое последнее дело – положить человека в землю в грязном белье.

– А еще хуже – не перекрестить его знаменем и не прочитать напоследок молитву, – добавил Удалов.

Тихо было в русском стане, у костров. Люди, готовясь к переправе через Прут, прощались со своим прошлым, с тем,

что никогда уже не вернется, шевелили губами, немо творя молитвы, и поглядывали в быстро темнеющее небо. Кто-то запел песню про казачью долю, песню подхватили, но долго она не продержалась, утасла...

Ночную переправу русских через Прут немцы засекли. Вначале загавкал один пулемет, потом к нему присоединился второй, пули густо посыпались в воду. Затем на германском берегу рывкнуло орудие. За ним другое. Раньше орудия на этом участке фронта замечены не были, они стояли выше по течению Прута в специально вырытых капонирах¹¹.

Недалеко от Дутова, плывущего вместе со своей пешей командой, в воду всадились снаряд, волна накрыла войскового старшину с головой, поволокла в опасно пузырящуюся глубину, Дутов задергался, замолотил руками, стараясь вырваться из жадного зева, засасывающего его, захрипел, глотая воду, давясь ею и собственным хрипом, – холодный страх сдавил Дутову грудь.

Он заработал руками проворнее, вкладывая в судорожные движения последние силы. Наконец зев ослаб, Дутов вынырнул на поверхность и вцепился руками в бревно, потерявшее своего хозяина.

Рядом плыл плот с короткоствольной пушчонкой, установленной на железный лафет. Около пушчонки горбился, оберегаясь от чужих осколков, орудийный расчет – трое ху-

¹¹ Капонир – оборонительное сооружение для ведения огня в двух противоположных направлениях.

дых солдат, бородатых, очень похожих на неуклюжих птиц, вылупившихся из одного гнезда: коротенький щиток орудия не мог прикрыть всех их, и артиллеристы покорились своей судьбе – что будет с ними, то и будет...

Над головами людей, в воздухе, вновь раздался шелестящий, с коротким подвывом звук, и в воду лег еще один снаряд, взбугрил высокую крутую волну. Она накренила плот с гордой пушчонкой и та медленно поползла с плота в воду. Один из сгорбленных артиллеристов застонал и сполз под колеса пушчонки, двое других вцепились руками в колеса, засипели, стиснув зубы и трясая мокрыми головами, удерживая орудие на плоту. Хорошо, лафет пушчонки был привязан проволокой к бревнам, орудие хлебнуло стволом воды, и плот выпрямился...

Раненый пушкарь растянулся на плоту под колесами. Один из артиллеристов склонился над ним:

– Микола, куда тебя ранило? Куда, а? – монотонно забормотал он, приподнял голову раненого, сунул под нее смятую мокрую фуражку.

Микола молчал – металл перебил в его организме какую-то важную жилу, – и человек стремительно слабел.

Люди продолжали барахтаться в черной, хранящей в себе тепло ушедшего дня воде, хрипели, тихо, с тоской матерились, но упрямо продолжали плыть к противоположному берегу Прута. Несколько раз вода заливала Дутову рот, он захлебывался ею, мотал головой протестующе, делал по-

спешные гребки, стараясь побыстрее одолеть опасное место... Над водой висел кислый дымный запах.

Хоть и казалось, что переправе этой не будет конца, а конец все-таки пришел – под ногами внезапно оказалось твердое дно, оно само поднырнуло снизу под сапоги, бодливо толкнуло человека. Дутов неожиданно испуганно, как в детстве, поджал под себя ноги и лишь потом запоздало, с облегчением понял – он достиг противоположного берега...

Подхватив скатку белья, лежавшую на бревне, он сплюнул воду и выскочил на берег. Скатка была перетянута кожаным ремнем, из-под ремня торчала рукоять пистолета. Войсковой старшина выдернул пистолет, ткнул стволом в черное пространство – ему показалось, что сверху, из кустов, на берег валится человек с винтовкой в руках, призванный убить его. Дутов предупреждающе щелкнул курком, темь в ответ шевельнулась пусто, под порывом ветра зашумели кусты, но никто из неё так и не вывалился.

Дутов поспешно натянул на себя бриджи, с облегчением услышал, как слева в ночи возникло раскатистое «ура», потом этот же крик раздался впереди, и войсковой старшина, натянув на ноги сапоги, проворно рванул вперед. Пешая команда форсировала реку, целя в пустой промежуток противоположного берега, в стык двух батальонов – австрийского и немецкого. В этом месте строчка окопов обрывалась, и можно было легко вгрызться в оборону противника.

В реку с воем всадили еще один вражеский снаряд, окра-

сил воду мертвенным голубоватым светом, опрокинул плот с людьми. Послышался длинный тоскливый крик. С фланга ударил пулемет, прошелся свинцом по воде. Крик оборвался. Дутов ощутил, как у него задергалась щека, в висках заплескалась боль.

На плоту мог оказаться и он: ему, как командиру пешего дивизиона, предлагали переправу на плоту при полном обмундировании, но он отказался, предпочтя добираться до вражеского берега вплавь, – в плот попасть легче, чем в одинокого, скрытого покровом ночи пловца.

Он пересек гряду кустов, как некий барьер, услышал слева от себя сопение – в темноте барахтались, сцепившись друг с другом, двое, русский и немец, но определить, кто из них где, было невозможно. Дутов подскочил к сопящей куче, наставил на нее пистолет, в следующий миг неожиданно отчетливо увидел голову здорового немца в сбитой набок каске и ловко ударил рукоятью пистолета прямо в оголенное ухо. Немец вскрикнул негромко, выпустил противника, которого уже почти взял за горло.

Дутов ухватил русского за руку:

– Вставай, казак!

Тот покрутил головой, стряхивая с себя песок, достал из-за голенища сапога веревку.

– Этого гада надо связать, иначе убежит, – прохрипел он.

– Еремей, ты, что ли? – изумленно воскликнул Дутов.

– Он самый, ваше высокоблагородие, – хрипя, отозвался

казак, – спасибо за выручку. Не то этот боров... Чуть не задалвил ведь.

Еремеев накинул на руку немца веревочную петлю, затянул, рывком перевернул пленника лицом вниз, притиснул вторую руку к первой и проворно обмотал их веревкой, связав концы ее узлом.

– Теперь этот сукин сын хрен куда денется, – прохрипел он довольно, помял пальцами грудь. Вгляделся в темноту.

Впереди вновь послышалось негромкое, смятое беспорядочной стрельбой «ура!», следом – матерные выкрики. Дутов заторопился.

– В атаку, в атаку, Еремеев! – подогнал он казака. – Нам еще линию окопов надо взять.

Неподалеку в небо взметнулось синее плоское пламя, осветило лица дрожащей мертвой голубизной, стремительно опало.

На Дутова налетел коренастый круглоголовый австрияк, выскочивший из пулеметного гнезда, вырытого перед самыми окопами, чуть не сбил его с ног и с воплем шархнул в сторону – ошалелый, не увидел русского. Дутов прыгнул в темноту следом, догнал австрияка и что было силы долбанул его кулаком по голове. Как кувалдой. Австрияк пискнул жалобно и, упав, покатился по земле. Дутов навалился на него сверху, придавил, тяжело дыша, прохрипел в сторону:

– Еремеев, ты где?

Австрияк зашевелился под ним, Дутов придавил его к

земле сильнее, сверху прижав коленом:

– Никшни!

В следующее мгновение из темноты вынырнул Еремеев.

– Тут я, ваше высокоблагородие. Звали?

– Звал. Принимай еще одного, Георгиевский кавалер! Потом перед полковой канцелярией отчитываться будешь.

В нескольких метрах от них завязалась схватка – пешие казаки сцепились с немцами, рванувшими из окопов в контратаку. Раздавались смятые удары прикладов, вскрики, сопение, глухие стоны, ядреный мат, без которого у соотечественников не обходится ни одна драка, вопли на гортанном немецком, почему-то сделавшимся похожим на грузинский язык, сочное шмяканье опрокинутых тел о сырую землю. Дутов бросился в гущу драки, наскочил на здоровенного рыжего, вооруженного двумя тесаками, – он, как мясник, полосовал всё вокруг себя, кричал, бил в одну сторону, дотягивался до цели, потом бил в другую. Увидев офицера, «мясник» кинулся к нему.

Дутов пригнулся, затем сделал стремительное движение вбок, ушел метра на полтора от нападавшего, снизу выстрелил. Пуля всадила в противнику в голову, мигом превратив лицо немца в кусок сырой говядины, тот выронил ножи и распластался на земле.

– Спасибо, ваше высокобродь! – Дутов услышал всхлип.

Внизу на коленях стоял молодой казачонок и прижимал ладонь к окровавленной, порезанной немцем щеке, но Дутов

уже не слышал его слов, метнулся дальше, где на маленьком пяточке молотилось сразу несколько человек. С ходу, что было силы, он врезал ногой по лицу унтера, пытавшегося на четвереньках выбраться из схватки, немец охнул, оскалился по-собачьи и, перевернувшись через голову, растянулся на земле.

– За батюшку государя! – громко прокричал Дутов, увлекая за собой казаков, и в следующее мгновение столкнулся с двумя фрицами, обрушившимися на него сразу с обеих сторон.

В одного Дутов в упор разрядил пистолет. Второй с воплем занес над Дутовым винтовку, пнул прикладом пространство – Дутов успел увернуться. Бок у немца оголился, он провопил еще что-то, прыгнул в сторону и направил на войскового старшину плоский длинный штык.

– Рус, сдавайся! – просипел немец.

– Много хочешь, – ответно просипел Дутов, впустую щелкнул бойком пистолета – в обойме попался отсыревший патрон.

– Сдавайся! – немец засмеялся, в темноте по-людоедски плотоядно блеснули зубы.

Дутов вновь впустую щелкнул бойком – и второй патрон, оказалось, отсырел, – виски его сдавило что-то холодное, во рту мигом образовался комок. Сделалось трудно дышать. Немец засмеялся вновь и направил штык противнику в грудь, ткнул – Дутов едва успел отскочить в сторону, острие

прошло рядом с плечом. Дутов выстрелил в немца в третий раз – и в третий раз пистолет дал осечку. Это была уже не случайность – это был рок.

Лицо немца еще больше расплылось в широкой понимающей улыбке – видимо, он и сам попадал в подобные ситуации – он снова ткнул в Дутова штыком. В последний, почти упущенный миг тот уклонился от тычка, затем, опережая противника, совершил ловкий прыжок и ударил немца рукояткой пистолета по каске.

Звон раздался такой, будто Дутов врезал молотком по пустому чугуну. Владелец «чугунка» шлепнулся на задницу, очумело затряс головой. Старшина дунул в ствол револьвера и позвал уже привычно:

– Еремеев!

Через несколько мгновений Еремеев возник перед ним из пространства, будто некий дух, пришлепнул ладонь к козырьку фуражки.

– Вяжи этого гада, – устало произнес Дутов, только сейчас ощутив, как трясутся руки и колени, а икры свело так, что они сделались будто железными и стреляли острой болью.

Еремеев коршуном прыгнул на плененного. Запас прочных пеньковых концов у него, похоже, был неистощим.

Через час немецкие окопы были взяты. В предрассветной темноте они теперь развернулись на сто восемьдесят градусов. Казаки пешего дивизиона начали сооружать на тыловой

кромке окопов брустверы – гулко хлопали лопатами по валам земли, за которыми можно укрыться, – тридцать лопат на плоту доставили с той стороны Прута. Руководил инженерными работами подъесаул Дерябин.

– Поспешай, ребята, – подгонял он, – как только рассветет, швабы полезут в атаку.

– Пока они кофий не попьют – не полезут, вашбродь, – знающе проговорил один из братьев Богдановых, насмешливо блеснув глазами, – натура швабская хорошо известна.

– Натура известная – это верно. Но вдруг у них генерал – дурак, страдающий бессонницей? А, Богданов? Возьмет и даст команду атаковать ночью.

– И это может быть, – согласился с подъесаулом Богданов, – очень даже...

Кто это конкретно был из братьев Богдановых – не угадать, Иван ли или Егор: слишком уж походили они друг на друга – родились с разницей в сорок минут. Лица у них, с крупными волевыми подбородками, округлые, улыбающиеся – одинаковые. Открытый взгляд, исполненный всегдашней готовности помочь, и рост, и походка... Даже усы – и те братья носили одинаковые.

Корнет Климов не выдержал, проворчал:

– Ну хотя бы один из вас взял бы, да и сбрил усы... Чтобы отличаться?

– Не можем, ваше благородь, – сказал один из Богдановых, – в таком разе мы нарушим обет, данный родителям.

– Какой еще обет?

– Обещание, что мы с братцем Егоркой дали папаньке с маманькой – они же за нас одной иконе молятся – одному святому, бишь...

– Блажь все это, – продолжал ворчать корнет.

Настроение у Климова было хуже некуда: из штаба дивизии в штаб пешего дивизиона пришло распоряжение, подписанное самим Келлером, о перепроизводстве его из корнетов в хорунжие. Собственно, одно звание от другого высотой не отличалось, но тем не менее лицо у корнета напряженно вытянулось, под глазами образовались и уже несколько дней не исчезали белые «очки».

– Я же не казак, Александр Ильич, – сказал он Дутову, – зачем из меня хорунжего сделали?

– Видимо, исходя из того, что вы служите в казачьей части, – примирительно проговорил Дутов.

Климов хотел выругаться, сказать что-нибудь нелестное о графе, но промолчал – Келлера он боялся, при упоминании его имени вытягивался во фрунт и застывал, будто в строю, с напряженным лицом.

– Ну не в прапорщики же он вас перепроизвел, – Дутов вспомнил, как с ним поступили в Академии, потрянул головой, словно хотел выбить из нее застрявшую старую боль, и добавил: – Меня тоже обижали... Много раз. Но на жизнь мою это никак не повлияло. Так что отнеситесь к этой метаморфозе спокойно.

Климов поморщился – ему и переправа не понравилась, и то, что вода в Пруте мокрая... И то, что Дутов не умел рывкать на подчиненных, а обходился мягкими замечаниями, тоже пришлось не по душе...

– Работайте, работайте, – рывкнул Климов на братьев, внутренне злясь на себя за то, что давно надо было бы показать этим улыбающимся клоунам Кузькину мать, но он, дворянин и офицер, все чего-то интеллигентничает... Тьфу!

Братья Богдановы, подстегнутые Климовым, заработали проворнее.

Когда рассвело основательно, после кофейного завтрака, без которого офицеры в нарядных парадных касках, схожие с петухами, даже не выходили из блиндажей, немцы поднялись цепью в недалеком логу и двинулись отбивать потерянные окопы.

Дутов поднес к глазам бинокль:

– Без моей команды не стрелять!

– Без команды их высокоблагородия не стрелять, – пополз неторопливый рокоток по казачьей цепи.

Казачи – люди хоть и горячие, но умеющие думать, способные окорачивать себя, если это надобно. Страху они не знали, на врага обычно шли смело, не пригибаясь, но и лишней раз подставлять себя под пули тоже оберегались. Пуля ведь дура, сшибет и не посмотрит, умный ты или пустоголовый...

Немецкая цепь приближалась. Были уже видны потные

раскрасневшиеся лица – частый шаг, готовый перейти на бег горячил тела, сбивал дыхание. Впереди цепи двигался гауптман в блестящем пенсне, очень крохотном, карикатурно выглядевшем на красной физиономии. В одной руке гауптман держал многозарядный маузер с квадратной магазинной коробкой, доверху набитой патронами, в другой – лакированную палку с криво изогнутой, украшенной замысловатой резьбой рукоятью. Маузер был нужен ему, чтобы без промаха разить обнаглевших русских, палка – чтобы наказывать своих солдат, если те начнут разбежаться, как тараканы, в разные стороны.

– Айн, цвай, драй! – лихо печатал шаг гауптман.

– Айн, цвай, драй! – также лихо шлепали сапогами по земле его подчиненные.

Всем своим видом атакующие демонстрировали превосходство. Солдатам перед атакой выдали по стопке шнапса, чтобы из подданных кайзера Вильгельма напрочь испарился страх – бояться следовало казакам, незаконно занявшим чужие окопы. Немцам нравилось, как они идут – зрелище, если глянуть на него со стороны, впечатляющее – казаки должны почернеть от страха...

– Айн, цвай, драй!

Лишь музыки не хватало под этот чеканный строевой счет. Серое небо, казалось, и то подрагивало в такт шагам, природа замерла в тревожном ожидании: сейчас что-то произойдет! Германская цепь сомнет казаков, втопчет бедолаг в

землю, будто муравьев, и храбрые солдаты кайзера получают в награду еще по одной стопке яблочного шнапса, да по шоколадке на закуску, как рекомендует великий кайзер...

Дутов почувствовал, как внутри возник холод, пополз по хребту вниз, – он расстегнул крючки на воротнике кителя, – дышать стало тяжело... Несколько казаков на бруствере, нервно заерзали – слишком уж близко подошли немаки, можно разглядеть цвет глаз под касками.

– Не стрелять, – напомнил Дутов, – без моей команды – ни одного выстрела... Иначе они сметут нас.

Цепь все ближе и ближе, сапоги впечатываются в землю, рождая победный звон и панический гул в голове. Войсковой старшина повернул голову в одну сторону, потом в другую, выкрикнул по-птичьи резко:

– Пли!

Грохнул залп. Земля дрогнула. В гауптмана попало сразу несколько пуль, лакированная палка взметнулась в воздух. Пенсне ярко сверкнуло стеклышками и, будто бабочка, развернувшись в полете, упало на землю, прямо под сапоги уцелевшего немецкого солдата.

Раздался второй залп. Солдат, раздавивший пенсне гауптмана, стукнул сапогом о сапог, подпрыгнул, будто балерина, проорал что-то невнятное и хлобыстнулся на землю, растянувшись во весь рост.

– Пли! – вновь скомандовал Дутов.

Третий залп едва ли не начисто смел изрядно поредевшую

цепь – от нее осталось лишь несколько человек. Они не замедлили развернуться и, горбясь, трусцой, оглядываясь, побежали назад. Казаки вслед им не стреляли. Лишь Еремеев высунулся из окопа по пояс и громко, приложив ко рту обе ладони, заулюлюкал. Казаки засмеялись – получилось это у Еремы здорово.

– Улю-лю-лю-лю! – в следующий миг прокатился по цепи уже многоголосый крик, возникший сразу в нескольких местах.

Немцы исчезли в кустах – будто бестелесные сквозь землю провалились.

– Духи, а не люди, ваше высокоблагородь, – убежденно произнес Еремеев.

Дутов покосился на него:

– Ну-ка, друг ситный, пройдишь-ка по окопу, проверь, все ли живы?

– Да никого не зацепило, ваше высокоблагородь, швабы же совсем не стреляли, шли молча, будто кофию перепились.

– Выполний, Еремеев, приказание! – Дутов повысил голос.

Еремеев приложил пальцы к виску и неспешно двинулся вдоль окопа на левый фланг.

– На время, пока мы находимся на этом плацдарме, будешь моим ординарцем, – бросил Дутов ему вдогонку.

– Й-йесть!

– Не слышу радости в голосе, – Дутов вновь напряг го-

лос, поморщился – разговаривать на повышенных тонах он не любил.

– Й-йесть!

По окопу к Дутову пробрался Дерябин, лицо озабоченное, щеки испачканы глиной.

– Александр Ильич, нам эти трупы житья не дадут, – подъесаул ткнул рукой за бруствер, в поле, усеянное телами немцев. – Через три дня они вонять так будут, что здесь даже птицы переведутся.

– Что вы предлагаете? – Дутов провел биноклем по кудрявой неровной линии распустившихся кустов.

– Ночью стащить в одно место...

– Далеко мы их не утащим, – перебил Дутов подъесаула, – а вонять они будут и там... Выход один – зарыть их.

– Немцы не дадут нам этого сделать – они привыкли зарывать своих убитых сами. У меня есть план, – подъесаул сдвинул фуражку набок, вид у него мигом сделался лихим.

– Какой план? – Дутов продолжал разглядывать в бинокль неприятельскую сторону.

Длинная рябая полоса кустов оставалась безжизненна, пуста, смята.

– Взять человек десять германцев в плен и заставить их закопать трупы. В своих стрелять не будут – вот пусть пленные и сделают это дело.

Дутов сунул бинокль в кобуру, потер пальцами усталые глаза.

– В этом что-то есть, – сказал он, – разумное... Только за пленными надо на ту сторону идти – далеко. Да, вот еще чего: убитых нужно обязательно обыскать, забрать у них документы, еду, оружие, патроны. Всё это может нам пригодиться.

– Людей, чтобы обыскать трупы, мы сможем послать только когда стемнеет.

– За это время со стороны немцев следует ждать не менее трех атак. Тут такая гора наберется...

Следующую атаку немцы начали через сорок минут. Безжизненные зеленые кусты вдруг заколыхались, на поляну неожиданно выскочил маленький, шустрый, похожий на мышонка немец с серебряными офицерскими погонями на куцем, почти детском мундирчике и призывно махнул пистолетом. Из кустов выдвинулась цепь солдат.

Тактику немцы изменили – в этот раз они устремились на дивизион Дутова короткими перебежками: делает солдат в огромной каске сидящей у него на голове, будто тыква, бросок, шлепнется на землю, отдышится и снова делает бросок. Вот так и шли фрицы на пешую команду войскового старшины Дутова.

Старшина покусал зубами свежую травинку, улыбнулся понимающе:

– Ну-ну!

Его команда была усилена пулеметами – с той стороны Прута, несмотря на частую фланговую стрельбу, прибыл

плот с двумя «максимами» и несколькими ящиками с патронами. Расчеты – по два человека на каждый «максим» – добрались до плацдарма своим «ходом» – приплыли, держась руками за плот с обеих сторон и отчаянно болтая ногами.

Пулеметы Дутов поставил на фланги, – те казались ему слабыми. Солдаты расчетов выжали мокрое белье, обулись, и так, в сырых кальсонах, приготовились стрелять: бережливые были мужики, с казенным имуществом разговаривали на «Вы».

Ловчее всех совершал броски-перебежки маленький, схожий с мышонком немецкий командир – шустрости его можно было позавидовать. Дутов, глядя на это, всё покусывал травинку и как-то загадочно улыбался. Такая шустрость была не по его чреслам – это раз. И два – он никогда бы не повел солдат в лобовую атаку, обязательно схитрил бы, постарался отыскать какой-нибудь обходной маневр: зашел бы сбоку, ударил бы во фланг... В лоб своих солдат водят только те офицеры, которые имеют в черепашке лишь одну извилину, да и та каской натерта.

– Без моей команды не стрелять, – проговорил Дутов привычно, тихо, но голос этот услышали все, даже пулеметные расчеты, расположившиеся на флангах длинной окопной линии.

– Шустрые, как тараканы, – туда-сюда, туда-сюда, – раздраженно проговорил Еремеев, передернув затвор карабина, уронил голову на бруствер, втиснулся подбородком в глину,

щеккой прижался к прикладу, будто к девке какой.

Маленький проворный немец продолжал вести перебежками свое войско к окопам, занятым казаками. Не знал он, что на этом участке фронта воюют казаки, иначе не вел бы себя так опрометчиво – маху дала германская разведка, не предупредив командира. Сейчас казаки будут по одному выбивать наступающих, отщелкивать поштучно, как подгулявший кузнец – мишеньки в тире.

– Цепь, приготовиться, – прежним тихим, очень ровным голосом скомандовал Дутов, выплюнув травинку. – Пли!

Ударил залп – половина наступающих на ходу повалилась на землю. С флангов дружно врезали пулеметы, звонкий стук их легко раздробил воздух. Шустрый офицерик, похожий на вымахнувшего из глубины земли тролля, некоторое время катился по пространству словно бы сам по себе, невесомо и проворно перебирая ногами, потом подцепил на лету пулю, взвизгнул и завалился в воронку от снаряда – не видно его стало и не слышно, будто никогда и не было...

Через пять минут перед окопами, занятыми дутовской командой, было пусто – ни одной живой души, лишь летали крупные говорливые мухи, да несколько бабочек-капустниц кружилось в безмятежных хороводах. Казаки молча и заинтересованно смотрели на них...

А бабочки всё играли и кружились, переместившись, порхали над мертвыми телами, вызывая ощущение недоумения, горечи, торжества – всё вместе. Это сложное чувство под-

минало людей, лишало уверенности в себе, словно бы на них навалилась неизлечимая болезнь. Казаки приподнимались над окопами, темными, глубокими, будто ведущими в преисподнюю, над бруствером, словно над рукотворным рубежом, зачарованно следили за бабочками.

Наконец Дутов затряс головой, сбрасывая с себя наваждение, поочередно осмотрел своих товарищей, лежавших рядом, и проговорил устало, не узнавая своего надтреснутого, с глухим хрипом голоса:

– Отдыхайте, мужики. В ближайший час немцы не ползут на нас. – Поискал глазами Дерябина – тот исследовал биноклем цепь кустов, за которыми скрылись отступившие. – Виктор Викторович, назначьте дежурных – пусть неотступно следят за германцами.

Опрокинувшись спиной на стенку окопа, Дутов вдавился лопатками в холодную желтую глину, глянул в серое равнодушное небо. Затевался дождь. Над людьми мелким пшеном вились комары. Войсковой старшина развернулся, глянул вновь на бабочек. Они продолжали кружить над трупами, будто души убитых...

Через час – Дутов рассчитал точно – немцы начали новую атаку, снова изменив тактику, – раз лобовая успеха не принесла, решили ударить с флангов. Ход был несложный. Дутов предугадал его и усилил фланги – послал туда лучших стрелков, тех, которые могут на лету попасть в муху и уже проверены в деле – Еремеева, калмыка Африкана, братьев

Богдановых и еще два десятка человек...

На них немцы и наткнулись – те не проворонили противника. На правом фланге фрицы постарались подобраться метров на пятьдесят к казакам – кусты тут близко подходили к окопам, можно было ими прикрыться – но казаки заметили неприятеля еще на исходных позициях, в ложбине за грядой кустов. Еремеев по-разбойничьи громко свистнул в четыре пальца, прокричал что было силы:

– Внимание, славяне, – немаки!

Люди, дремавшие в окопе, мигом повскакали со своих мест.

Но, прежде чем немцы навалились на фланги Дутова, где-то далеко, по ту сторону земли, глухо бухнуло орудие. Сырой непрочный воздух расползся на несколько ломтей, в нем возникла проворная черная мушка, и германский снаряд шлепнулся в берег, в самый урез воды и земли, подняв к небесам рыжий столб. Влажные земляные брызги долетели до окопов. Казаки зашевелились:

– Ну, проснулись швабы... с ночных горшков слезли!

Дутову эта стрельба была не по душе – слишком недалеко от линии окопов лег снаряд. Сейчас проспавшиеся артиллеристы положат второй, возьмут в вилку, а третьим, сделав поправку, уже накроют казаков. От холодка, образовавшегося внутри, он нервно дернул головой, втянул сквозь зубы воздух.

В далеком далеке вновь бухнуло орудие, земля испуганно,

как-то по-сиротски дрогнула, раздалось едва слышное шипение, будто гусак отгонял от гнезда, на котором сидела самка, молодого любопытного гусенка. Шипение усилилось – и второй снаряд также лег в стык берега и воды – немецкие артиллеристы то ли поленились сделать поправку, то ли посчитали, что батарея их и без того хорошо пристреляна. Над окопной траншеей засвистели осколки, во все стороны полетели тяжелые комья земли. Дутов, даже не подумав пригнуться, выругался.

Опять вдали дрогнула земля, нервная дрожь перекатилась по пространству, толкнулась снизу в ноги войскового старшины.

Он поморщился, глянул на противоположный берег Прута, где находились свои, и с досадой саданул кулаком по земляному накату:

– Нет бы нашим пушкарям засечь немецких и ударить в ответ с превеликим грохотом, чтобы головы с плеч полетели! А они вместо этого, видать, кулешом пробавляются да дрыхнут под кустами. Тьфу!

На этот раз снаряд всадились в центр длинного поля, заваленного трупами, раскидал мертвецов. К Дутову, – будто бы кто специально направлял ее, – подскочила дырявая немецкая каска с проломленным боком, подпрыгнула по-козлиному высоко и устремилась в окоп. Старшина посторонился. Каска с бряканьем шлепнулась на глиняное дно окопа.

Казачи не выдержали, засмеялись:

– Во, ваше благородие!

– Что во?

– Злобная какая консервная жестянка... От самого кайзера прискакала. Того гляди, в сапог вцепится.

Дутов поднес к глазам бинокль – не шевелятся ли в кустах задастые немецкие солдаты? В кустах оставалось спокойно, даже ветер не колыхал ни одну из веток. Немецкие пушки вдалеке не бухали. Одно было непонятно Дутову: как это так получилось у рачительных немцев: пехотинцы наступают сами по себе, а артиллерия действует сама по себе? Откуда такая несостыковка? Видимо, что-то не сработало в хорошо отлаженной машине, провернулось вхолостую. Или тут кроется хитроумный план, который Дутов не разгадал?

Снаряды больше не прилетали. Кислая неподвижная вонь повисла над землей. Нарядных беззаботных бабочек не стало – всех спалил огонь. Дутов вновь провел биноклем по линии кустов – никого.

Несколько казаков, сидевших на дне окопа, вытащили затворы из своих карабинов, – затворы от частой стрельбы были словно сажень покрыты, – и теперь протирали их тряпками.

– Не вовремя вы решили разобрать свои винтовочки, – сказал им Дутов, – скоро швабы пойдут в атаку.

– А мы сейчас соберем, минутное дело. Не разбирать нельзя, ваше высокородь, – от грязи механизм заклинить может. Пуля пойдет наперекосяк и застрянет в стволе.

Казаки стали поспешно загонять затворы в карабины.

Швабы начали атаку. И было похоже на этот раз, что артиллерийское начальство соединилось-таки с пехотным. Вначале с того края земли прилетело несколько снарядов, один из которых угодил в окоп и выкосил человек шесть, потом пушки смолкли и на казаков короткими перебежками понеслись немцы.

– Братцы, не спешите стрелять, – выкрикнул Дутов вдоль окопа, – берегите патроны! Выберите мишень, прицельтесь тщательнее, а уж потом давите на курок. Бейте, чтобы промахов не было!

В недоброй, лишенной всего живого тиши был слышен лишь надсаженный хрип немецких солдат да дробный топот сапог, будто стадо быков мчалось по лугу к реке испить воды.

– Пли! – тихо, но очень отчетливо скомандовал Дутов.

Земля вздрогнула от дружного залпа. Количество немцев разом уменьшилось на треть.

– Не торопитесь, братцы, – вновь попросил казаков Дутов, выплюнул изо рта тугую горькую слюну. – Бейте наверняка.

Из кустов ударил залп по казачьему окопу, пули пропели свои опасные песни, несколько свинцовых плошек вошло в бруствер перед Дутовым, взрыхлило землю, одна, угодив в камень, взбила сноп ярких брызг.

– Вот мудрецы, – хрипло пробормотал Дутов, мотая головой – в ушах у него поселился звон, и звон этот, острый, кузнечиковый, надо было из себя вытряхнуть.

Одна из пуль, запоздалая, прошла низко, над самой головой, опалила волосы жаром. Дутов поспешно вжался подбродком в землю, потом приподнялся над окопом, увидел, что немцы находятся уже близко, невольно покривился лицом.

– Казаки! – поспешно выкрикнул он. – Пли!

Залп из казачьего окопа на этот раз был редким, и Дутов понял – сейчас немцы ввалятся к ним. Рукопашной не миновать. Он не выдержал, в сердцах саданул кулаком по брустверу, потом отобрал карабин у лежавшего раненого соратника, который стонал, прижавшись головой к земляной выбоине, оставленной крупным осколком. Дутов загнал в казенник патрон и выстрелил в бегущего черноволосого немца, похожего на большого запечного таракана. Тот шархнулся в одну сторону, потом в другую, затем вновь очутился на прежнем месте – к русскому окопу шваб бежал зигзагами.

– Вот сволота! – выругался старшина, перезарядил карабин и вновь выстрелил.

Опять мимо – немец пригнулся, вильнул вбок, совершил длинный прыжок, на ходу выстрелил ответно – бил он метко, пуля пискнула по-птичьи у самого плеча войскового старшины. Дутов, загнав в ствол патрон, ударил не целясь, – так обычно получалось лучше, – немец вскрикнул горласто, вскинул руки и, споткнувшись о труп, полетел на землю.

– Так-то, – удовлетворенно пробормотал Дутов, выдергивая из магазина пустую обойму.

Пошарив в подсумке у беспамятно стонущего соседа, вы-

ташил другую обойму, с громким щелканьем загнал ее в магазин. Передернул затвор.

На окоп тем временем навалилось несколько немецких солдат – потных, тяжело дышащих, с выставленными винтовками. Впереди бежал белообрый светлоокий немец с черными шляпками зрачков. Встретившись взглядом с Дутовым, он ткнул перед собой штыком, просадив насквозь воздух, обнажил белые крепкие зубы, перегрызшие, видимо, не одну глотку, до крови закусил губы.

Дутов выстрелил в него. Мимо. Поспешно перезарядив карабин, выстрелил вторично. Опять мимо. Он выругался, дернул рукоятку затвора на себя, выбивая пустую гильзу, и холодная дрожь встряхнула его тело – гильза застряла. Дутов старался справиться с непокорным латунным стаканчиком, таким маленьким и несерьезным, что, казалось, он никак не мог повлиять ни на одну человеческую судьбу... Войсковой старшина снова дернул затвор, напрягся, сцепил зубы, – за ушами у него даже что-то зазвенело, звон оглушил, виски сдавило. Кожа на голове покрылась холодными мурашками, казалось, волосы встали дыбом. Белообрый быстро приближался.

Над ухом Дутова раздался выстрел, горячий залп воздуха отбил его голову в сторону. Дутов застонал. Белообрый изумленно распахнул рот, взвился над землей, дернул ногами несколько раз – движения были суматошными, неуправляемыми, – и через мгновение рухнул на бруствер.

– Не зевайте, ваше высокоблагородь, – наставительно произнес Еремеев, перезаряжая карабин.

– Да у меня патрон заело... – тяжело дыша, проговорил Дутов.

Еремеев выстрелил снова, сбил с ног второго солдата, бежавшего за белобрысым. Тот захрипел на ходу, забусил¹² пространство кровью, поддел ногой рогатую каску-кастрюлю и с лету повалился в траву – только громко лязгнули зубы. Стрелял Ерема метко.

– Спасибо, друг Еремей, – просипел Дутов. Он наконец справился с застрявшей гильзой, выдернул ее из ствола, швырнул под ноги, – если бы не ты... – старшина не договорил.

Немецкая атака сорвалась – враги отвалили от самого окопа, занятого казаками, и поспешно понеслись назад. Хотя на правом фланге они сумели-таки залететь в окоп, и там завязалась рукопашная.

Дутов отложил карабин и ощупал тяжело отвисшую кобуру револьвера – в окопной драке самое лучшее использовать револьвер, – приподнялся на цыпочках, чтобы разобраться, что в окопе происходит и, помотав головой удрученно, предупредил Дерябина:

– Виктор Викторович, держите этот фланг под контролем, следите за всем. Как бы немцы не развернулись в новую атаку. А я – на тот фланг.

¹² Забусить – здесь: забрызгать.

Хоть и длинен немецкий окоп, и выкопан со знанием дела – с выносными стрелковыми ячейками и ходами сообщения, с пулеметными гнездами, с досками на дне, – а места для боя мало. Люди, спрессовавшись на узком пространстве, мутузили друг друга прикладами, орудовали ножами, штыками, кулаками – кто чем. Невысокого роста казак лупил битюга-немца по голове каской, тот только мычал, да вскидывал в защитном движении руки, а казак все плющил каску о крепкий череп противника:

– На! На! На!

Войсковой старшина поспешил на помощь казаку, размахнулся, саданул немца рукоятью револьвера по темени, и тот медленно опустился на дно окопа. Казак сел рядом, вытер рукавом форменной рубахи залитое потом лицо:

– Спасибо, ваше высокоблагородье! Не то я совсем замучался с ним. Бью, бью его, а он все руками машет. Вот, гад, крепкий какой попался!

Дутов не ответил, протиснулся по окопу вперед, размял сапогами несколько мелких досок, изрубленных осколками в щепки, отодрал от кучи малы одного немца – сытого, кривоногого, с недоуменными глазами, саданул кулаком в лоб. Немец помотал головой, прорычал что-то и, развернувшись всем корпусом к Дутову, рогом попер на него.

Страха у Дутова не было, было другое – какое-то хмельное веселье, предощущение победы, что ли, желание, как в молодости, в безмятежную юнкерскую пору, похулиганить.

Он сделал резкий шаг назад и поманил пальцем немца:

– Утю-тю-тю!

Тот набычился, шагнул к Дутову, поднял тяжелую, с исцарапанным прикладом винтовку, и войсковой старшина больше не стал мешкать да тянуть время – ткнул в него стволом револьвера:

– Хенде хох!

Немец вздохнул хрипло и, бросив винтовку, поднял руки. Дутов набрал в грудь воздуха, крикнул привычное:

– Еремеев!

Не думал он, что верный Еремеев слышит его, но тот услышал и, топоча ногами по доскам, подбежал к командиру, выдергивая из кармана моток веревки:

– Тут я!..

Войсковой старшина шагнул по окопу дальше – рукопашная вместе с рычащими людьми переместилась в самый угол – казаки там доколачивали швабов. Стенки окопа в нескольких местах обрушились, были измазаны кровью, истыканы, под ногами валялись грязные тряпки. И немцы и русские дрались в окопе яростно – кулаками, прикладами, ножами, выстрелов почти не было, только сопение, мат, восклицания, стоны, тупые удары, топот, аханье, всхлипы, хрипы, хруст костей. Выстрелы звучали очень редко, только при крайней необходимости, когда дышать становилось нечем, свет в глазах темнел, а в брюхо целился чужой штык.

Дутов миновал один ход сообщения и отшатнулся – на

него, гулко бухая сапогами, несся немец в коротком, не по росту, мундире с закатанными по локоть рукавами. Винтовку он держал, будто дубину, за ствол.

Дутов пригнулся. Тяжелый дубовый приклад просвистел у него над головой. Дутов выпрямился и, стиснув зубы, ударил немца рукоятью револьвера по каске. Раздался звон – шлем «фельдграу» был отлит из прочного металла, ремешок, протянутый под подбородком, лопнул, и каска, похожая на большое, лошадиное копыто, проворно взметнулась в воздух. Дутов ткнул в немца стволом револьвера:

– Хенде хох!..

Сдав немца на руки Еремееву, Дутов снова ринулся в гущу схватки. Воздух над окопом висел смрадный, пахнул кровью, мочой, гноем, гнилью; чем-то противным, пропущенным через желудок, выжатым, вывернутым наизнанку... А неподалеку в кустах безмятежно шебуршали и попискивали птицы, незатейливая возня их никак не совмещалась с тем, что происходило в окопе, писк их был мирным и никакого отношения не имел к войне. Законы мира и войны – разные законы...

Через несколько минут в траншее все стихло. Ко всему безразличные мертвые лежали на дне окопа, вытянув руки, задрав заострившиеся носы. Над мертвыми вновь вились бабочки – опять откуда-то взялись. Живые сидели рядом, отдыхали.

Голова у Дутова была тяжелая, в глазах рябило, хотелось откинуться, разбросать руки крестом и, замерев, провалиться в сон. Он помял вялыми пальцами затылок, втянул сквозь зубы воздух: надо было прийти в себя, но сил на это не хватало, усталость брала свое. Дутов начал щипать жесткие небритые щеки, оттягивать кожу, чтобы сделать себе больно и немного встряхнуться. Наконец последним усилием, – больше ничего не осталось в загашнике, – он заставил себя подняться и выглянуть из окопа.

– Дерябин! – хриплым, едва различимым голосом позвал Дутов своего помощника. – Виктор Викторович!

Казак, сидевший рядом на дне окопа, зашевелился, ожил, повернул голову, передавая зов командира дальше:

– Их высокоблагородие зовут подьесаула Дерябина.

По длинному изгибистому окопу неторопливо двинулось:

– Подьесаула Дерябина – к командиру дивизиона.

Через несколько минут Дерябин – помятый, в гимнастерке с отодранным рукавом, с серым, испачканным глиной лицом, – протиснулся к Дутову:

– Да, Александр Ильич!

– Убитых у нас много?

– Точную цифру сообщить пока не могу, не успел подбить.

Но человек двенадцать – пятнадцать есть.

– Давайте, Виктор Викторович, на левый фланг, а я – на правый. Особо надо проверить пулеметы. Важно, чтобы у пулеметов всегда были полные расчеты. Убитых стащить в од-

но место...

– Будет исполнено! – Дерябин козырнул и стал пробираться по окопу на левый фланг.

Дутов проводил его усталыми глазами, вскинул бинокль.

На кустах, прикрывавших линию, за которой находились немцы, ни один листок не дергался, не дрожал.

– Более двух часов швабы не выдержат, – старшина вздохнул, – снова ползут. – Им очень важно сбросить нас обратно в Прут.

В рукопашной схватке дивизион потерял четырнадцать человек убитыми. Дутов остановился у каждого погибшего, поклонился, закрыл глаза, если те не были закрыты. Этот скорбный ритуал рождал в нем боль, скорбь, у него дергалась щека и печаль сдавливала сердце. Двенадцать человек было ранено. Немцы потеряли на шесть человек больше, и еще двенадцать оказались взяты в плен. Пленные сидели тут же, в окопе, со связанными руками, – презрительно щурили глаза и плевали себе под ноги.

– Ну, плюйтесь, плюйтесь, – глянув на них, равнодушно произнес Дутов. – Ночью в штабе полка будете.

Но до ночи предстояло похоронить убитых. Со своими понятно, что делать. А вот как это сделать с немцами, Дутов не знал. Взять пленных на мушку и послать их закапывать гниющих соотечественников? Не факт, что пленных не захотят порешить свои же. Вот незадача-то!

В окопе Дутову на глаза попался Климов. Лоб у хорунжего

был перевязан бинтом.

– Что это с вами? – спросил Дутов.

– Ничего серьезного, – отмахнулся Климов, вид у него неожиданно сделался гордым. – Ссадина.

Дутов понял – для Климова рукопашная стала боевым крещением, раньше он в таких переделках еще не бывал. Дутов ободряюще улыбнулся хорунжему:

– До свадьбы заживет.

– Так точно, – Климов коснулся пальцами бинта.

– Вы, насколько мне ведомо, знаете немецкий?

– В определенных пределах, Александр Ильич. Учил, как и все, не думая, что пригодится.

– Пленных допросить сможете?

– Попробую.

Оказалось, пеший дивизион Дутова выбил с позиций усиленный пехотный батальон, приданный к егерскому полку, – немцы в течение нескольких дней проводили перегруппировку своих сил, укрупняли боевые позиции, что означало одно – они готовятся к наступлению. Русские опередили их – в штабе графа Келлера сидели аналитики посильнее германских штабистов, – потому швабы так и злились, потому они так старались отбить утерянную линию обороны.

– Вот им! – Дутов сложил из трех пальцев популярную фигуру, одинаково понятную и немцам, и русским. – Максимум, что они смогут отбить, – своих дохляков. А дохляков мы готовы отдать им безо всякого боя.

Попав на фронт, братья Богдановы часто вспоминали свой дом в станице – из самодельного кирпича, большой, рассчитанный на несколько семей.

Хоть и была разница в рождении близнецов Богдановых всего сорок минут, а они четко придерживались деления «старший» и «младший». И старший в их паре, естественно, верховодил.

Из младшего, Ивана, война еще не выбила из него мальчишество, а запах дома не выветрился из памяти. Старший же, Егорий, казался обстоятельнее, степеннее Ивана.

Теперь братья сидели на дне окопа неподалеку от пленных, охраняемых Еремеевым, с любопытством поглядывая на врагов – такие же люди, сотворенные человеком, так же ощущающие боль, поющие песни и тоскующие по дому, любящие послаще поесть и подольше поспать... Хотя слово «мать», например, у них звучит гораздо грубее, чем у русских. Ну, разве можно сравнить неудобное, будто бы выпиленное из фанеры «мутер» с милым, звучным, словно бы рожденным сердцем словом «мама»?

– Как там дома обходятся без нас? – голос Ивана повлажнел, сделался тихим.

Старший брат задрал голову, посмотрел на кудрявое недалекое облако, неторопливо ползущее по небу, вздохнул:

– Наши сейчас в поле. Хлеб сеют.

– И кто выдумал эту дурацкую войну?

– Как кто? – Егорий не выдержал, с досадою крикнул. – Известно, кто.

– Много бы дал я сейчас, чтобы очутиться в станице, – потянулся, отер пальцами влажные глаза Иван. – Интересно, как там Наталья?

Младший Богданов ушел на войну, не успев жениться: невеста его, Наталья Гурдузова, плакала на станции в Оренбурге так, что косынка у нее стала мокрой, хоть выжимай. Егорий успел провести со своей женой Авдотьей несколько медовых ночей, а потому и к жизни уже относился несколько иначе, чем младший братец.

– А что Наталья? Она там же, где и моя Авдотья. Помогает родителям.

Старший Богданов отщипнул от стенки окопа немного земли, помял ее пальцами, понюхал.

– Чем пахнет?

– Не пойму. Теплая. Самый раз бросать зерно.

– Вместо этого мы начинаем ее железом, – мрачно проговорил младший Богданов и, подражая старшему, с досадою крикнул.

– Я сегодня, братуха, сон видел, – в голосе старшего зазвучали задумчивые нотки, – даже не знаю, как к нему отнестись.

– Что за сон?

– Бабку нашу Меланью Терентьевну видел...

– Да ты что, Егорий! Покойницу?

– Покойницу, – подтвердил старший Богданов. – Как живая была... Стояла у скирды и внимательно смотрела на меня. Я подошел к ней, думал – исчезнет, а она лишь вздохнула скорбно, да губы поджала. Я к ней: «Ты чего, бабунь?», она молчит. «Случилось что?» – она вздыхает. Тут наша Меланья Терентьевна поманила меня пальцем: «Пошли со мною, внук!»

– Это плохо, братуха.

– Не верю я ни в какие сны, Иван, так что... – старший Богданов рубанул рукою воздух. – А бабку я был рад повидать, – лицо у Егория дрогнуло, в следующий миг сделавшись неподвижным, словно отвердело.

Богданов-меньшой глянул на старшего и расстроено подумал о том, что война не даст им вернуться домой. Никогда они не услышат, как поскрипывают под лемехом сухие корни трав, перерезаемые углом плуга, как стучат слабенькими молочными копытцами новорожденные телята в углу избы. Никогда не увидят сизую, задымленную по весне степь. Не втянут ноздрями печеный вечерний дух станицы, – в каждом дворе были сложены летние печки, а под навесами сушились целые горы кизяков¹³, от которых шарахались даже мухи.

Неужели все это навсегда окажется в прошлом и никогда уже не вернется? Человек предполагает, а Бог располагает...

¹³ Кизяк – высушенный в форме кирпичей навоз с примесью соломы, служивший топливом на юге, иногда употреблявшийся и для построек.

Следующую атаку немцы начали под вечер, когда воздух уже загустел, налился недоброй кровавистой темнотой, по небу плавали длинные розовые нити, схожие с неповоротливыми ленивыми червями, какие обычно встречаются в скотомогильниках. Сделалось неожиданно тихо. Так тихо, что было слышно; как на противоположном берегу Прута, где расположился штаб Первого Оренбургского полка, переговариваются казаки-коноводы, стараясь понять, куда удрала одна из сумасбродных кобыл.

Младший Богданов толкнул брата в бок:

– Чуешь?

– Что?

– Тишина-то какая!

– Ну и что?

– Такая бывает только в могиле.

– Типун тебе на язык, – старший выругался. – Ну, Иван, ну, Иван... Тьфу!

Дутов в это время лежал на бруствере и в бинокль рассматривал дальнюю гряду зелени – там, казалось, намечалось какое-то подозрительное шевеление... Хотя что кроме атаки там могло затеваться? Сейчас немцам однако будет атаковать труднее, чем, скажем, сутки назад, – и слева и справа от Дутова высадились стрелковые десанты, подсыпали швабам перца под хвост – те морщатся, но терпят. Собственно, иного выхода, кроме атаки, у них и нет...

Вот в прогале между кустами мелькнул человек – пронес-

ся стремительно, будто дикая коза, за ним проскочило еще несколько теней, с головами вроде кастрюль, и у Дутова перед глазами задержалась нервная прозрачная строчка – похоже, немцы через несколько минут пойдут в атаку. Он негромко позвал Дерябина:

– Виктор Викторович! Давайте-ка, голубчик, на правый фланг, к пулеметчикам, Климова пошлите на левый, я останусь здесь, в центре. Стрелять, как обычно, только по команде.

Подьесаул тоже засек движение немцев и поспешно двинулся по окопу на правый фланг, по дороге выдернул из стрелковой ячейки Климова и велел ему взять под свое крыло левую часть окопа.

Дутов был прав – через семь минут немцы пошли в атаку. Вначале они скреблись по траве, приподнимаясь над землей, будто жуки, и исчезая, а потом по команде горластого батальонного офицера вскочили и, петляя, понеслись на дивизион Дутова.

Войсковой старшина сдернул с бруствера очередную травинку, привычно сунул ее в зубы. Сощурился критически: непонятно, почему немцы жалеют снаряды. Или имеют какую-нибудь хитрую уловку, дальновидный план? Дутов оставался спокоен, хотя внутри у него все было натянуто, что-то нехорошо подрагивало, в горле дребезжал холодок, словно туда заскочила противная мерзлая ледышка.

Казачи молчали. Припав к карабинам, они ждали. Дутов

скосил глаза вправо – туда ушел Дерябин. Подьесаул уже добрался до пулеметчиков и скрылся за насыпью. Потом старшина развернулся в сторону левого фланга – что там? И там все было в порядке.

Набрав в грудь воздуха, Дутов выдохнул, прочищая легкие, и крикнул негромко:

– Приготовиться!

Бабочки над трупами ослепляли людей яркими красками – казаки даже хватались за глаза, загораживаясь, ругались – что-то было в этих прелестницах колдовское, мифическое – явно ими командовал дьявол... А Дутов продолжал смотреть на приближающегося неприятеля, ежился, будто ему было холодно, приподнимал то одно плечо, то другое, у него нервно дергались углы рта, но команды «пли!» он не подавал, ожидая нужный момент. На этот раз с немцами наступали австрийцы, – немцы держали их в резерве и распечатывать эту «зачапку», похоже, раньше не думали. Но Дутов заставил ее распечатать...

Горло ему сдавили чьи-то пальцы, он сделал несколько резких вдохов-выдохов, невидимое кольцо разжалось и соскользнуло с его глотки.

– Пли! – негромко выговорил он.

Окоп окутался резким, пахнущим скисшей серой дымом. Первая шеренга наступающих повалилась на землю.

– Пли! – вновь скомандовал Дутов.

На поле опять повалились люди, но от того, что два залпа

уложили два десятка вражеских солдат, наступающих меньше не стало – наоборот, их стало больше, они бросками, ша-рахаясь из стороны в сторону, уходя от пуль, вскрикивая, стреляя ответно, приближались к линии, занятой пешим дивизионом. Плотные клочья резкого сизого дыма, зло кусающего глаза и ноздри, плавали над землей, прилипали к кустам; бабочек, всех до единой, словно ветром сдуло.

Дружно заклацали затворы перезаряжаемых карабинов.

– Пли! – в третий раз скомандовал Дутов.

Громыкнул залп, заставил вздрогнуть землю. Воздух сделался темным, неровным, с кустов полетели листья, затрепыхали неровными пятнами в пространстве.

Немцы продолжали наступать, их становилось все больше. Среди солдат, одетых в мышинового цвета форму, мелькали светлые, песочного тона мундиры австрийцев – судя по одежде, это была какая-то особая часть. Дутов поморщился, будто зубы ему свела затяжная боль, просипел натужено, давясь ядовитым дымом:

– Пли!

Человек восемь наступающих кувырком покатались по земле. Казак рядом с Дутовым застонал и ткнулся головой в бруствер. Дутов поспешно перехватил его карабин.

– Пли!

Надо бы перевязать казака, но не до этого – вначале нужно отбить атаку. Казак захрипел, вывернул голову. Дутов увидел блестящий, прикрытый намокшей от крови косой челкой

глаз, красные зубы. Он передернул затвор, выстрелил, просяще тронул казака пальцами за погон:

– Браток, не умирай!

Казак продолжал хрипеть. Из рта у него полилась кровь.

– Пли! – вновь скомандовал Дутов.

В грохоте залпа он неожиданно услышал, как на правом фланге захлебнулся и умолк пулемет. Дутов встревоженно приподнялся над бруствером.

Австриец, бежавший прямо на него, на ходу вскинул винтовку и выстрелил. Горячий воздух опалил Дутову ухо – пуля прошла слишком близко от головы, – войсковому старшине даже показалось, что на макушке затрещали волосы. Он придавил рукой фуражку и выстрелил ответно. Австриец открыл рот, выронил винтовку и понесся по воздуху плашмя. Через несколько мгновений он приземлился, воткнувшись головой в труп, дернулся, затем свернулся, будто маленький ребенок, калачиком и затих. Пуля Дутова угодила ему в сердце.

Войсковой старшина рассчитывал, что атака немцев вот-вот захлебнется, угаснет и швабы вместе со своими наперсниками-австрияками откатятся назад, но не тут-то было – из поредевшей, облезшей от винтовочного жара гряды кустов вылезали все новые ряды вражеских солдат.

Пулемет, умолкнувший на правом фланге, ожил, ударил короткой очередью по перебегающим немцам, затих на несколько мгновений. Дутов не выдержал и даже застонал

от холодной боли, стиснувшей ему затылок, – потеря пулемета в такой ситуации может всякого командира, даже более опытного, чем Дутов, довести до сердечного приступа. Но в следующее мгновение пулемет закашлял вновь. Боль отпустила. Молодец Дерябин, справился...

– Пли! – скомандовал Дутов и выстрелил в потного востроносового немца, нависшего над самым окопом.

По инерции фриц пронесся еще несколько метров и с водем нырнул в окоп. Будто с моста прыгнул. Вниз головой, сложив руки лодочкой. Дутов посторонился, – хорошо, что успел это сделать, иначе бы тот размял бы его, распластавшись на дне окопа, неловко подмяв телом правую руку-лопату и вывернув птичью голову. Винтовка влетела в окоп следом, воткнувшись длинным плоским штыком в стенку.

– Ши-и-и-и, – выпростался тяжелый шипящий звук из подвернутой сухой головы, будто из некоего испорченного музыкального инструмента.

Дутов передернул затвор карабина и выстрелил немцу в голову. Тот дернулся и затих.

Патроны в магазине карабина закончились. Дутов положил его рядом с казаком, который перестал стонать и шевелиться – то ли потерял сознание, то ли умер, – и, ухватив за приклад немецкую винтовку, выдернул штык из стенки. Немецкая винтовка после русского казачьего карабина оказалась тяжелой, неудобной, выскальзывала из рук, приклад мигом отбил войсковому старшине плечо.

Стрельба шла уже без всяких команд, беспорядочно. Пулемет на правом фланге то оживал, то умолкал – что-то там происходило. Левобланговый «максим» умолк, сквозь частые хлопки карабинов и винтовок стал слышен затяжной хрип бегущих – немцы решили все-таки выдавить непрошенных гостей из своего окопа.

– Вот вам! – Дутов, обозлившись, привычно ткнул в пространство фигой. – Вот!

Слева, недалеко от пулеметной ячейки, возникла драка. Донеслись крики, мат, хлопки выстрелов, высоко над окопом, будто птица, взлетела каска, сбитая с чьей-то дурной головы, следом взметнулась казачья фуражка. Через полминуты там началась настоящая рукопашная...

Прошло еще несколько минут, и справа от Дутова также взлетела немецкая каска, следом – ранец и тощий казачий сидор. Плохо, что немцы ворвались в окоп.

Слева и справа от него слышались крики, кто-то разбойно свистнул. Неподалеку Еремеев доколачивал прикладом немца, наряженного в мундир с одним оторванным погоном, второй погон мятым крылышком болтался на плече, взметывался вверх и опускался в такт ударам приклада. Чуть дальше с фрицем сцепился еще один казак – вбивая его ударами кулака в стенку окопа, немец только ахал, да вздергивал руки, пробуя защититься. Везде шла схватка, всюду возились люди, опьяненные одной целью, одним делом – перекусить глотку врагу.

Несколько минут созерцания отвлекли Дутова, он расслабился, и это чуть не окончилось плачевно – сзади возникла тень, накрыла его незаметно. Ловкий, верткий, как змея, немец в новенькой, пахнувшей жаревом форме, – немцы, как и русские, борясь с вшами, тщательно прожаривали одежду, – прыгнул на войскового старшину сверху и придавил к стенке окопа.

Дутов ахнул от неожиданности, в следующий миг ощутил на своей шее чужие пальцы, засипел задавленно, уходя от тисков. Немец, не желая упускать добычу, рыча, также нырнул вниз, садясь на войскового старшину едва ли не верхом. Дутов извернулся и ухватил немца за воротник, резко рванув его, пытаясь перебросить через себя. Противник взвизгнул, врезался головой в стенку окопа, но Дутова не выпустил. Тогда тот, крихтя, оттолкнулся, уходя назад, поднатужился и сделал новый рывок. Немец вновь вклинился головой в окоп, но только натужено закричал.

Войсковой старшина, ощущая, как перед ним начало плыть наполненное яркой краснотой пространство, сопя и морщась от того, что горло словно железом стиснули безжалостные чужие пальцы, собрал остатки сил, вновь вцепился врагу в воротник, рывком перебрасывая его через себя. Немец замычал сдавленно – клейкая глина окопа на сей раз забила ему рот, сдвинула набок физиономию. Вляпался он в нее плотно, не выбраться, здешней глиной даже дырки в сапогах можно замазывать – будет держать, никакая влага не

одолеет. Руки немца немного ослабли, и Дутов ощутил, что угасающее сознание начало возвращаться к нему.

В следующее мгновение кто-то бодро крикнул в зияющей глубине пространства, раздался звук тупого удара, и немец безвольно опустил руки. Знакомый голос!

К Дутову подскочил Еремеев, следом калмык, вдвоем они ухватили немца за шиворот и отодрали от войскового старшины. Еремеев с силой хлопыстнул кулаком по каске немца, загоняя ее на голову врага по самый подбородок, Бембеев добавил, вложив в свой хитрый крученный удар всю ловкость, что у него имелась. Немец обмяк окончательно. Дутов, оглушенный, помятый, шатаясь и недовольно ощущая, какие у него непрочные ноги, как болит и рассыпается вялое, неожиданно сделавшееся старым тело, – преодолевая боль и слабость, поднялся, покрутил тяжелой, звенящей головой.

– Ваше высокоблагородь, вы поаккуратнее, – предупредил его Еремеев сочувственным, наполненным сухой трескучестью голосом.

– Бывает... – просипел, разминая сдавленное горло, Дутов. – И на старуху бывает проруха.

Братья Богдановы держались рядом, прикрывали друг другу спины.

– Иван, ты смотри, чтобы мне никто штыком не ткнул под лопатки, – кричал Егор, – а я уж постараюсь – намолочу швабов, как зерна на поле.

– Не бойсь, Егорий, – с готовностью отзывался младший, круша прикладом все вокруг себя, обливаясь потом, делая резкие выпады и тут же уходя назад – на одном месте нельзя было оставаться, надо было вертеться, и Иван с этой ролью справлялся успешно, только стоны вражеские раздавались. – Я тебя не подведу.

На него из глубины окопа, боком, стреляя из-под каски белыми глазами, выдвинулся немец со здоровенной, не по комплекции винтовкой – родственницей пищали, украшенной ржавым штыком. Ткнул в казака, не попал, ткнул вторично, также не попал – слишком проворно крутился Иван. И тогда белоглазый, обнажив от досады крупные зубы, выстрелил. Прямо с бедра, не целясь, – полагал, видимо, что пуля в отличие от штыка – штука умная, не будет дурачить, и расшибет лоб этому проворному русскому. Но не тут-то было – раскаленная площадка свинца выбила из стенки окопа несколько спекшихся комков глины, запоздало встряхнув его, и немец, у которого усы в драке встопорщились, будто у жука, обиженно захлопал глазами: почему пуля не завалила казака, а трусливо прошмыгнула мимо и спряталась в земле.

Слишком старая была у него винтовочка – однозарядный штуцер, который в русской армии не использовался уже со времен японской войны, да и то был извлечен со складов лишь тогда, когда узкоглазые вкупе с сынами Альбиона решили оттяпать от России Камчатку. Впрочем, бой у штуцеров был, дай Боже, и калибр такой, что пуля могла пробить

насквозь даже носорога. У «трехлинейки» это, например, не получалось – пуля застревала...

Гильзу заело. Немец растерянно глянул на противника, перехватил винтовку поудобнее и сделал еще один выпад штыком. Иван вновь увернулся от острия, немец пропорол лезвием воздух и поспешно отпрыгнул назад.

– Ну, давай, давай, давай! – поманил его к себе Богданов-младший. – Я тебя сейчас, как куропатку, на вилку насажу.

Немец снова сделал выпад – ногой оттолкнулся от стенки окопа и повалился на Ивана. Тот выставил перед собой приклад, подцепил им немецкий штык, развернул карабин и резко, будто лопатой, надавив на штык, притиснул противника к земле.

Сил выдержать нажим у немца не хватило, он закричал, переступил с места на место, и Иван, неожиданно опустив карабин, нанес ему сокрушительный удар кулаком в скулу. Немец крикнул и полетел на дно окопа, ноги его, обутые в сапоги с укороченными голенищами, просвистели перед самым лицом казака, задрались высоко, затем хлюпнулись на дно окопа, разбрызгав в разные стороны грязь. Иван проворно прыгнул вперед, подхватил винтовку немца и приставил штык к его горлу.

– А ну, поднимайся, – прорычал он грозно, надавив малость острием на кадык.

Штык рассек немцу горло, из пореза брызнула кровь.

Он испуганно закричал. Иван поспешно отнял от его горла штык и просипел озадаченно в сторону:

– Брательник! Мы пленных берем или нет?

– Берем! – прохрипел в ответ старший брат.

Егорий только что отбил нападение рыжего латифундиста и теперь боролся с ним, как в сельском кругу на престольном празднике, сцепив руки, кряхтя и роняя на землю пот. Значит, брату помочь не сумеет...

Младший Богданов, схлебнув с верхней губы соленое – то ли пот, то ли кровь – всхлипнул жалобно... Веревкой, чтобы вязать пленных, как запасливый Еремеев, он не обзавелся, поэтому надо было обходиться подручными средствами.

Иван тряхнул пленника, вцепившись ему руками в борта мундира, напрасно надеясь, что вытрясет из этого шваба что-нибудь полезное. Мундир едва не сполз с немца от этого рывка, от полы отлетела пара пуговиц, и Иван увидел продетый в шлевки тонкий кожаный ремешок, брючный. Он ухватился пальцами за пряжку, рванул ее к себе, освобождая шпенек.

Пленник взвизгнул, не понимая, что происходит, лицо его перекосил страх, он уперся ногой в выступ на дне окопа, потом, словно бы вспомнив что-то, сунул руку в нагрудный карман и выдернул оттуда небольшой нарядный пистолетик. «Несерьезный какой револьверчик-то, – только и успел подумать Иван Богданов. – Им бы нежные прошлогодние орешки колоть». Вопрос в мозгу его угас в тот момент, когда ко-

ротенький, в рисунчатой насечке ствол пистолета украсился наибольшим одуванчиковым цветком.

Раздался негромкий хлопок. Лютая сила смяла Ивана в охапку, отбросила на стенку окопа. Пуля угодила точно в сердце – он умер в тот самый момент, когда раскаленная свинцовая долька, закованная в латунную кольчужку, коснулась его тела. Лишь пред глазами вспыхнул яркий синий свет, на мгновение Иван увидел бескрайнюю и такую милую сердцу степь, что в горле у него в то же мгновение возникли благодарные слезы, виски сжало тепло, и свет погас.

Егорий отшвырнул от себя полузадавленного противника, прыгнул к Ивану, затряс его за плечи.

– Ива-ан!

Не отозвался Иван на крик брата.

Рядом с Егорием раздался негромкий хлопок – это вновь выстрелил белоглазый немец, поразивший Ивана. Пуля просвистела у Богданова-старшего рядом с ухом. Егорий запоздало отшатнулся, в следующее мгновение вновь потянулся к брату, задравшему вверх быстро заострившийся нос.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.